

ВЛАДИМИР БЛИНОВ

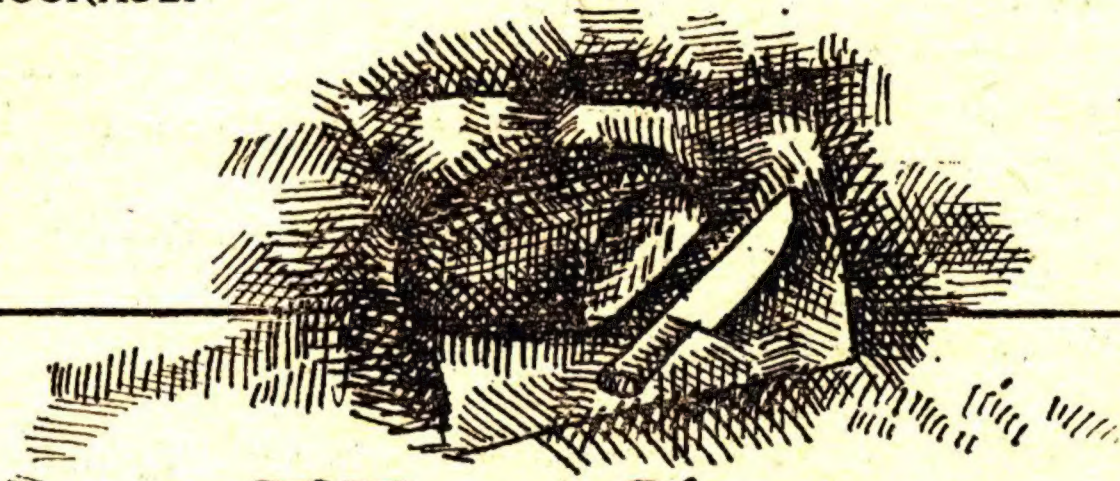
ЮРИЙ РЯЗАНОВ

Хлебная карточка

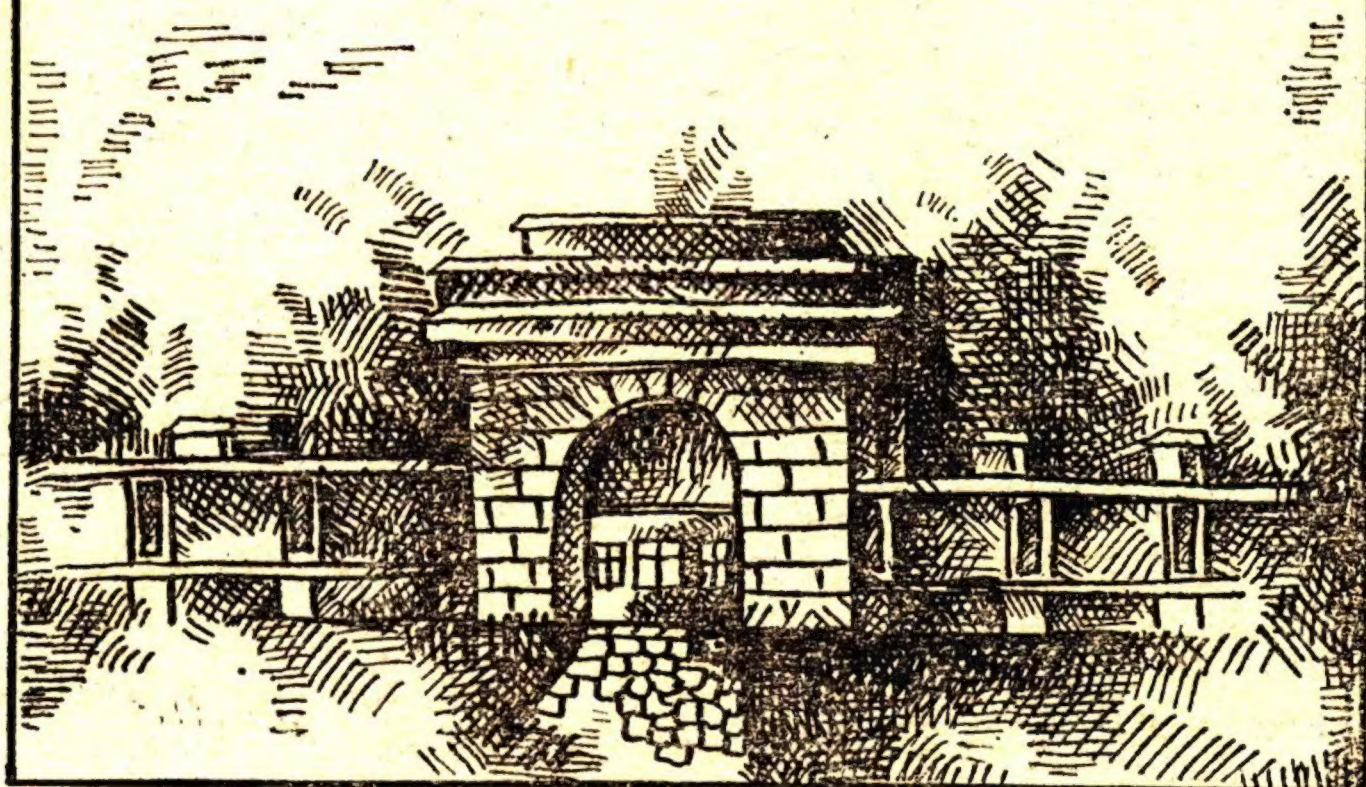


ВЛАДИМИР БЛИНОВ • ЮРИЙ РЯЗАНОВ

ПОВЕСТЬ
РАССКАЗЫ



Хлебная карточка



Свердловск • Средне-Уральское книжное издательство • 1986

84Р
Б69

Рецензент Н. Г. Никонов

Блинов В. А., Рязанов Ю. М.

Б 69 Хлебная карточка: Повесть, рассказы. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986. — 208 с.

В пер.: 45 к. 100 000 экз.

О военном детстве уральских ребят, о суровых буднях и взрослых заботах юных героев, о мужестве, дружбе и многом другом, связанном с теми далекими годами, рассказывает эта книга двух молодых свердловских авторов.

Адресуется среднему и старшему школьному возрасту.

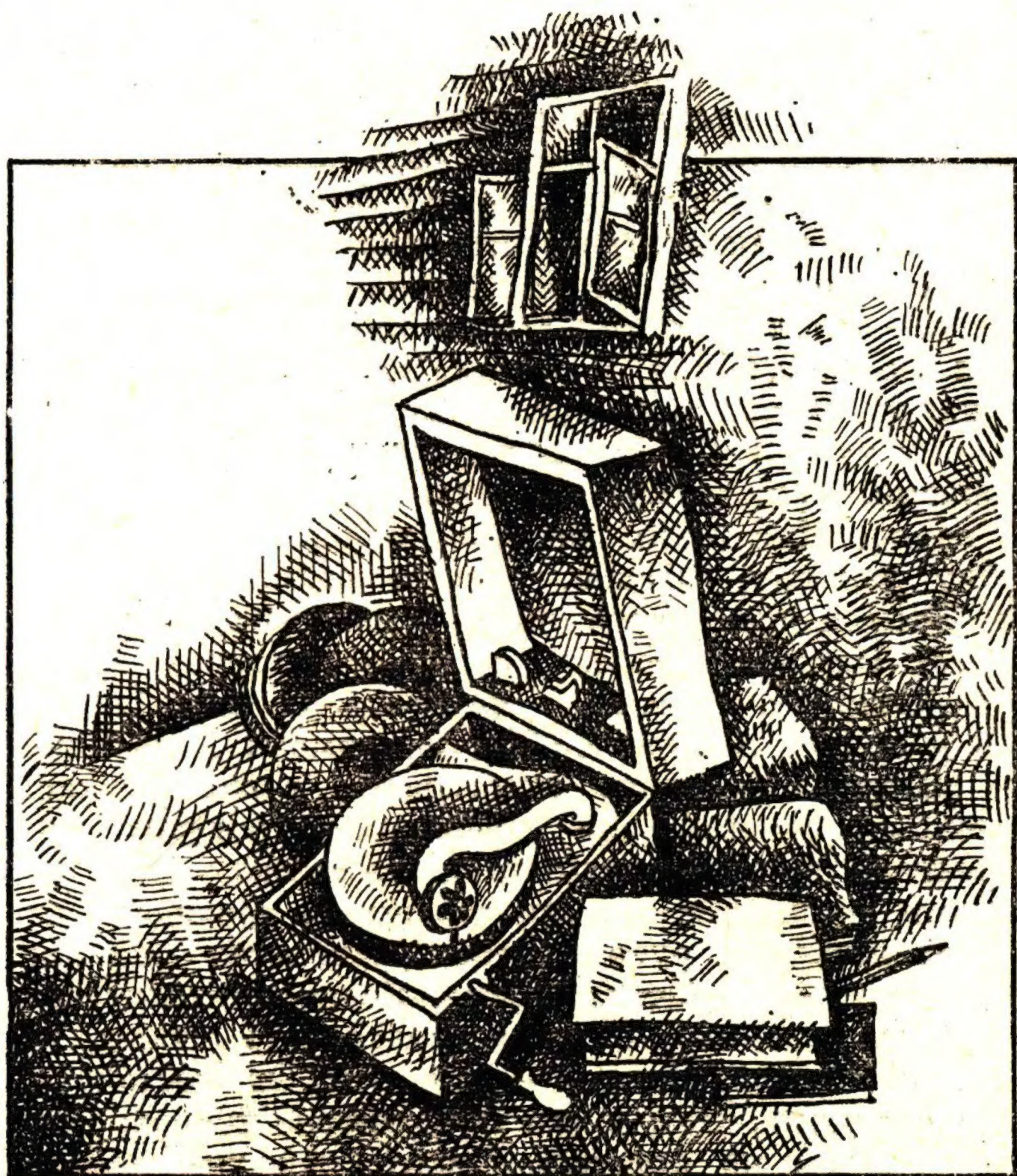
Б 4803010102-023 62-86
М158(03)-86

ББК 84Р7

© Средне-Уральское
книжное издательство, 1986.

Владимир
Блинов

ТЫ ПОМНИШЬ,
МАЛЬЧИК?



ЖИЗНЬ НА ДЕРЕВЕ

Знаете, в детстве я был таким бойким, таким, как бы это сказать... сорвиголовой, что сейчас, когда я рассказываю знакомым о своих похождениях, не всякий мне верит. То мы с пацанами прыгали с крыши двухэтажного дома на ботвяную кучу, рискуя сломать себе жерди, простите, ноги, мало того, я тут же предлагал еще перевернуться во время прыжка в воздухе... То не давали спать каким-нибудь «вредным» соседям, привязывая к ставню картофелину и оттягивая ее ниткой, проведенной на другую сторону улицы. Целой эпохой детства были поджиги. Нет-нет, не поджоги, до этого дело не доходило, а поджиги. Это, попросту говоря, деревянное ложе, а на нем, сверху, — металлическая, лучше медная, трубка, сплюснутая с одного конца. В общем, принцип тот же, что и у старинных ружей или пушек, помните: «Забил заряд я в пушку туго...» Вот и мы набивали трубки спичечными головками. Три, четыре, от силы пять головок, вот и готов заряд. Мне было, конечно, мало, и я засаживал в трубку дюжину головок, хорошо размельчая их гвоздем. Зато и грохот же потом стоял! На всю Степана Разина! Наклонив головы, куры улепетывали в подворотни. Старухи, крестясь, — не война ли вновь? — приносили к окнам. А из-за библиотеки имени Льва Толстого уже раздавалась трель участкового, тяжело бухавшего кирзовыми сапогами по деревянным тротуарам, чудом уцелевшим, не сожженным во время войны.

Сами понимаете, все эти забавы не проходили даром. Разорвавшийся в руке поджиг распластал мне ладонь, вот, видите, — два белых шрама. Вечно приходилось просить мать незаметно от отца залатать то штаны, то рубаху... А главное, главное — сам отец. Он жестоко лунил нас с братаном. Нет, я его не осуждаю теперь: инвалид войны, нервы на пределе. Лежит отец уже десять лет

на Ширококореченском кладбище... Ему хотелось, чтоб мы были примерными школьниками, хорошими ему помощниками. Он не желал, чтоб мы повторили его судьбу человека без образования и без толковой, как он считал, профессии, хотя сам славился как прекрасный столяр. Ух и врезал же он нам, попадись ему под горячую руку. Вот, помню... Тогда у нас с братаном появилась сестренка. Назвали ее как-то не по-нашему, Альбиной, красиво назвали. Да, ей тогда уже третий год шел. Мать с отцом днем в артели, на работе, мы с брательником через каждые два дня по очереди — в няньках...

Ходила Алька плохо, ноги у нее были слабые. Из яслей ее забрали, чтобы дома окрепла. По утрам мать поила ее рыбьим жиром. Алька вертела головой на тоненькой шее, старалась выплюнуть жир. Но мать долго не вынимала ложку из ее рта, и приходилось проглотить противную густую жидкость. После этого ей выдавался кусочек ржаного хлеба с солью, и это было вкусно, хотелось побыстрее прожевать его, чтобы забыть мерзкий запах и вкус.

Альке нравилось не ходить в ясли, а быть со своими братьями — хоть дома сидеть, хоть на улице, особенно любила она с Венькой играть, он был помладше Витьки и делал Альке разные игрушки и больше воли давал.

...Еще никогда Венька не играл так, как сегодня. Он забил уже два гола. А только одному Фомичу удавалось заколотить за игру сразу четыре штуки. Распаренный, покрасневшийся Венька так и стремился подхватить мяч:

— Сюда! Мне, пас!

Так ему хотелось заколотить третий гол, а там, глядишь, и четвертый.

Алька долго сидела в траве на краю канавы и смотрела, как играют ребята. Она радовалась за Веньку и звонко кричала: «Ула!» Но потом ей надоело сидеть. Ветер бросал ей в глаза пыль. Петух уже несколько раз ходил вокруг, того и гляди, клюнет. И мячом в нее больно попали. Скучно стало Альке. Она встала и пошла, потом опустилась на корточки и поползла, так ей было удобней. Сначала на поляну за футбольными воротами, двумя консервными банками, потом дальше — к забору, а потом и под забор пенсионеров Иовлевых. И оказалась Альбина в красивом-красивом саду, где цвели огромные красные, синие и желтые цветы, где малина смотрела прямо в рот, ее можно было срывать, даже не поднимаясь на слабые ноги. Бабочки совсем не боялись Альки и, видимо принимая ее за свою, легко перелетали с цветка на цветок. Алька подумала, что, если она съест побольше ягод, ноги ее окрепнут. И, наевшись вдоволь сладкой иовлевской малины, она свернулась под огромным, просвечивающим под солнцем зелеными прожилками лопухом и заснула.

...Долог, ах как долог летний день! Кажется, уж солнце и радость утренней бодрости всем принесло, и нагрело траву, подсолнухи, редьку, репы и другие растения так, что подались они на вершок, и раскалило пополудни пыльную дорогу, дома и особенно каменные монастырские плиты со стершимися старинными словами, плиты, которыми кое-как была устлана мостовая на соседней улице. Кажется, натрудилось вволю и устало солнышко, дело к вечеру идет, а оно все еще высоко, светит себе и другим на радость.

В другой раз и Венька вместе со всеми порадовался бы долгому светлому дню, а сегодня...

— Иди, — прохрипел отец, наматывая на ладонь солдатский ремень, бледнея и раздувая утончившиеся ноздри, — иди, ищи, вернешься без Альбинки — убью.

Как они с братаном ни искали Альку, как ни кричали,

уж все разинцы подключились... Они и в подъездах трамвайных барakov все обшарили,— кто-то вспомнил, что там живет ее ясельный дружок Георгий,— и на соседних улицах спрашивали, и даже в Монастырскую рошу сбегали: буфетчик Яша из пивного ларька сказал, что видел там примерно такую девчушку. Витька, старший братан, понурившись, поплелся домой, знал — и ему достанется.

— Домой не ходи,— сказал Веньке Фомич,— стырься куда-нибудь. А сеструха найдется, куда она денется! Если сама не явится, можно конную милицию на поиски вызывать.

И Веньке представлялось уже, как в их город входит конная милиция, огромный отряд. Кони сытые, форма новая, лампасы алые, пашки наголо, знамя плещется на ветру, впереди — главный милиционер, а на руках у него сидит, хлопая в ладошки, Альбинка...

— А вдруг она в колодец упала? — сказал малолетка Юрка.

Большие темно-зеленые листья окружали Веньку сверху, снизу, с боков. Старый-престарый тополь выручил, принял, укрыл и обнял Веньку своими мощными морщинистыми ручищами. Давно, еще позапрошлым летом, подвесили разинцы на тополе ржавое корыто. Когда начинались осенние баталии с пацанами-чапаевцами, корыто служило отличной наблюдательной площадкой для часового: чуть что — дергай сильнее за шнурок, проведенный в балаган, бей тревогу...

— Эй, Веник, спусти шнурок,— негромко крикнул снизу Фомич.

Ребята переживали за друга, а может, даже немного завидовали. Найдется Алька, в первый раз, что ли... Зато Венька!.. Он будто Робинзон Крузо на необитаемом корыте, устланном мягкими лопухами. Но сейчас главное — не толпиться под тополем, не выдать Веньку, даже братану его — ни-ни...

— Ничего, Веня, не трухай,— говорит Женька,— когда-нибудь напишешь книжку «Жизнь на дереве».

— Прославишься,— добавляет ехидно Колька,— нас не забывай!

Когда Венька подтянул вверх шнурок, то увидел привязанный к шнуру котелок, а в котелке — хлеб, соль, лук, бутылка с водой и — вот уж не ожидал! — кусок желтого сыру с большими и маленькими дырками, запашистый... Венька даже не знал, что сказать ребятам, он хотел уж им крикнуть, законная, мол, жратва, пацаны...

— Полундра! — скомандовал Фомич, и все разбежались от тополя. Из ворот Венькиного дома, надвинув на глаза кепку, выходил разъяренный отец.

Долог летний день. А лучше бы уж почь наступила, почью Веньку не найти. Все ребята разошлись по домам, только еще малолетка Юрка сидит под тополем.

— Скучно тебе, Венька?

— Не.

— Давай я к тебе залезу.

— Нужен ты мне!

— Чо тебе, жалко, что ли?

— Корыто не выдержит.

— А чего ты там теперь делаешь?

— Свисток вырезаю. Ножик вот только затупился.

— Бросай сюда, наточу.

Венька бросил на землю ножик, и Юрка, поплеывая, наточил его о кирпич.

Свисток из тополиной ветки получился толковый: маленький, голосистый, жалко, нельзя сильно свистеть. Венька пожевал хлеба и отпил глоток воды, теплая стала вода, нагрелась на солнце.

— Юрка, держи,— Венька сбросил впиз завернутый в лопух сыр, не весь, конечно, половину.

— Чо это?

— Жри.

Едва ли Юрка ел когда-нибудь сыр, и Веньке хотелось, чтоб малолетка попробовал настоящего, голландского, который, уж это точно, приволок Жепька из дома, с прокурорского стола.

Вскоре и Юрку позвали домой. И Венька остался совсем один. А неплохо на верхотуре! Можно было отодвинуть ветку и посмотреть на соседнюю улицу, где еще шныряли на трамвайной остановке люди, где, щелкая семечки, торчали у дверей закрытого магазина трое парней в сапогах, в кепочках: Арно, один из них, фикса-тый, другой — Шурик, его шестерка, третьего Венька не мог узнать... Можно было поглядеть в другую сторону, увидеть свой двор. Вот, в который уж раз, показывается на крыльце мать, утирая косынкой глаза. Сердце у Веньки начинает колотиться сильнее, и к горлу подкатывает что-то твердое, дышать аж мешает. Из-за него, из-за Веньки, перепало и матери. И не уснет она сегодня — двоих дома нету.

Алька, Альбинка, Альбиночка, хоть бы ты нашлась! Где же ты, где же ты, дурочка? Неужели — колодец? И Веньке представляется черная глубина сруба и большие пузыри, булькающие в тишине, — это тонет, захлебываясь, его сестренка Алька, и холодная зелено-коричневая жаба, раскорячившись, молча сидит на уступе...

Его даже подбросило что-то, и, перевернувшись, он долго лежит вниз лицом, закрыв глаза и вдыхая запах подсыхавших лопухов, конопли, пастушьей сумки — зеленого своего матраца в корытной люльке. Потом, потом... нет, он не плакал, просто, не шевелясь, лежал на спине и глядел сквозь листья на тихо плывущие оранжевые облака, улавливал еле слышное бормотанье тополиных листьев, принюхивался к вкусным запахам жареного лука и картошки, долетавших с ветерком от чьего-то дома.

...Две тяжелых капли упали ему на лоб. Начинался дождь. Видно, Венька задремал. Листья затрепетали сильнее, все дерево зашевелилось, как бы тоже очнувшись от спячки, и даже корыто стало помаленьку раскачиваться. Венька быстро окинул небо: две не так уж большие тучи, неизвестно откуда взявшиеся, нависли над тополем, над мокрыми, уже блестящими крышами, над всей улицей Стеньки Разина. Это ненадолго, успокаивал себя Венька. Однако в небе уже громыхнуло, правда, без молнии. Он быстро сдернул с себя штаны и рубаху и положил их под себя. Небесный душ обрушился на его маленькое тело. Однако тополь и тут помогал ему, не все капли долетали до корыта.

Дождь неожиданно скоро кончился, тучи, еще раз громыхнув на прощанье для порядку, отчалили, поливая теперь соседскую чапаевскую улицу.

Мать снова стояла у ворот. Не звала уж мать ни Альбинку, ни Веньку, так стояла, с отчаянием оглядываясь по сторонам...

Иовлевы услышали тревожный, отрывистый, с повизгиваньем лай пса. Они вышли на зов старого дворняги и увидели в борозде между яблонь и подсолнухов спящую девочку в красном платье, издали похожую на большую уставшую бабочку. Настасья Терентьевна тут же узнала соседскую Альбинку.

А старик поднял ее на руки и отнес родителям. Было уже темно.

Венька проснулся и не сразу понял, где он: ветки, звезды, небо. Он ощущал свое ложе и тут же все сразу припомнил. Алька! Неужели так и не пришла домой? Терялась она не раз, но к вечеру всегда была в своей постели. Придется, придется конную милицию!..

Холодно, зябко, одеяльце бы... Кто это там шибуршится внизу? Во... разговаривают... Венька бесшумно перегнулся вниз и увидел три ярко мигавших во тьме чинарика. Трое... Вот двинулись по огороду к дому Федотовны, остановились.

— Да чо у нее там — тряпье одно, — узнал Венька голос Шурика Мухачева.

— Не скажи, — прохрипел Арно, — у нее иконы в серебряных окладах, загоним в Ивановской церкви по полсотни.

— Да и тряпье у карги в сундуках, говорят, то еще, аглицкое. Вот только замчище здоровый, — громко прошептал третий, — провозимся...

Ах ты, к Федотовне они, значит, надумали. Уехала Федотовна к дочери в Вятку, никого больше нет у старухи. И сын, и муж с войны не пришли, оба — без вести. Весной еще приколотили разинцы звезду-жестянку к калитке Федотовниной. Что же делать, что же делать-то? — заегозил в корыте Венька. Может, слезть, домой бежать, может, — к Фомичу, у Фомичей — телефон... А что, если заорать, напугать хапуг? Их испугаешь, башку оторвут.

Громко взвизгнув, заскрежетали петли, лязгнул замок.

— Акх, не поддается, зараза, замок-то у нее еще от царя Гороха, кованый.

— Пусти, дай-ка мне, — зло прохрипел Арно.

И тут Венька вспомнил про свисток! Если в свисток не просто дуть, а еще и фурчать языком — точно милицкий свист получится, да это каждый знает. Венька нащупал котелок, висящий на сучке, и вытащил свисток. Он набрал в себя как можно больше воздуха — даже в груди кольнуло, — зажал свисток губами и — была не была! — выдал такую длинную трель, что у самого в ушах засвистело.

— Шухер, — крикнул Шурик, — затаись! Легавый!

А, пропадать, так с музыкой! И Венька выдал повую трель. И вдруг из-за библиотеки имени Льва Толстого раздался резкий, настоящий милицейский свисток и тяжело, будто конь копытами, затопал подкованными сапогами участковый Кац.

— Стой, стрелять буду!

Захлебываясь, звеня цепью, зашелся лаем иовлевский волкодав.

В окнах повспыхивали огни.

— Мамочка, ой, мамочка, спаси меня,— услышал Венька где-то совсем рядом с собой. Ему даже было слышно, как стучат от страха зубы того, снизу.

— Шурка? — позвал Венька.

Зубы стучать перестали.

— Шурка, ты чего там?

— Веник, ты? Опять от пахапа тыришься?

— А ты от кого, от мильтона?

— А чо мне мильтон, видал я мильтона!

— Чего же ты на тополе, как ворона, сидишь?

— Заткнись, зараза...

В это время участковый Кац, тяжело дыша, вновь прошагал мимо тополя...

Между тем начинало уже чуть заметно светать. Тянуло ко сну.

— Венька, у тебя там места хватит на двоих?

— Если боком... Только вот веревки старые...

— Выдуют, — и Шурка быстро, по-обезьяньи, вскарабкался в Венькино корыто.

— Бр-р-р, ну и холодина... А у тебя тепло!

— Ложись, — Венька накрыл Шурку Мухачева телогрейкой.

— И долго ты здесь жить собираешься?

— Еще часа три, пока отец на работу не уйдет. Я сеструху потерял.

— Найдется, куда она...

— Спи.

...Венька проснулся первым. Он проснулся от веселого пения птиц. Солнце поднималось из-за цехов инструментального завода, из-за каланчи, и птицы, каждая по-своему, кто как умел, пели о новом хорошем дне: воробы чирикали, ласточки скрежетали, пеночка насвистывала. «Эх, хорошо птицам, а мне...— вздохнул Венька.— Может, спуститься ненадолго на землю размяться или на верхушку слазить?..»

В это время огромная стая ворон показалась над улицей. Деловито размахивая крыльями, летели вороны, как на работу, туда, за трамвайное кольцо, на бойню. Одна ворона опустилась на тополь, может, она всегда здесь отдыхала, может, она была пожилая. Она села на ветку и, удивленно поводя клювом, уставилась на корыто, как бы вопрошая голосом Арно: «Что, уже двое на моем дереве? Кр-р-рах, прочь!» Но поскольку сказать толком, по-человечьи, она ничего не могла, то просто еще раз на всю улицу возмущенно каркнула.

— Кыш отсюдова,— бросил в нее Венька ветку,— раскаркалась.

Ворона нехотя взмахнула крыльями и, нагло выпустив на прощанье струю белой жижи, полетела за стаей.

— Веник, спички есть?

Оказывается, Шурка тоже проснулся.

— Черт, покурить охота... Эх, пожевать бы чего! Сейчас бы к Арно, у него целый ящик шоколаду!

Венька достал из котелка краюху хлеба, разломил и протянул Шурке. Они поели хлеба с солью, попеременно запивая из бутылки.

— Ну что, Веник, я того... похиляю, а ты...

— А мне до гудка, отец на работу — тогда...

— Ну пока. Я тебе шоколаду приволоку.

Венька видел, как Шурка, засунув руки в карманы, запылил по дороге. Он подошел к Венькиному дому, постоял немного, оглянулся и юркнул в калитку. Куда это он, неужели?.. А, наверно, огородами, подумал Венька. Ну правильно, огородами короче, Венька и сам не раз шмыгал через ту дыру в заборе.

Он лег на спину и решил еще немного вздремнуть. Птицы пели сильнее. Солнце пробивалось сквозь тополиные листья и золотыми ручейками стекало на землю. Бабочка села на край котелка, большие радужные глаза на ее крыльях глядели на Веньку, как бы спрашивая: «Ну как ты, Веня? С добрым утром, дружок!» И Венька протянул руку и даже потрогал завитой усик бабочки.

— Слазь!

Венька перестал дышать.

— Слазь, говорю, хуже будет.

Под тополем стоял Венькин отец.

А, нет, спасибо, не курю, давно бросил. Что дальше? Ну что, лежу я на кухне, на полу, только слезы текут. Спину больно, ухо горит, ну а уж о том месте, по которому прошелся отцовский ремень, и говорить не приходится. Закусил губу, стараюсь не закричать, узор на половике разглядываю.

— Веня,— говорит мать,— Веничка, потерпи, пройдет. Где ты всю ночь-то был? Я уж звала тебя, звала... Если бы не Шурка Мухачев... Отец... Ты не обозлился на отца-то, больной он у нас, невры у него... Ведь сам весь день теперь маяться будет.

— Мам,— говорю я.— А как же... Может, конную милицию вызвать?

В это время из комнаты выползла Алька, подползла ко мне, загнула подол своего красного платишка и стала утирать мне глаза, щеки, нос.

ЧЕРНЫЙ ЧУГУНОК, КАРТОШКА В МУНДИРЕ

Все прошло

Нынче — воскресенье,
Мальчикам — варенье,
Девочкам — лепешки
Из гнилой картошки.

Прибаутка военных лет. Напевалась она гнусаво, с издевкой. Если пела девочка, лепешки доставались пацанам.

Не самое плохое блюдо (если можно жратву назвать блюдом) были эти лепешки. Помню, мама натерла на терке такой веселеньей почерневшей картошки, кое-что на огороде из-под снега оттаяло, мороженые пупырышки, пару хороших картофелин добавила, мучки по сусекам наскребла. И вот с жару — лепешки, вкуснятина!

Однако мама не дала мне их много:

— Хватит, брюхо заболит.

— Мам, еще хоть одну.

— Ну, давай вот эту, румяную, пополам. Одевайся, на толчок сбегает, без денег ведь сидим, керосину купить не на что.

Она укутала холстинкой тарелку с лепешками, и мы пошли на базар.

Чем только не торговали тогда на толкучке! Как-то пацаны с улицы Степана Разина придумали продавать воду, обычную, водопроводную, благо колодка в квартале всего от базара. Жарко, пыль, июль. У газировщицы — очередь за стаканом теплого ядовито-красного морса с сахаринем, а тут...

— Эй, водичка свежая, родниковая!

— Почему?

— На рубль досыта.

Колька увидел сначала сапоги хромовые, потом галифе синее, потом — физиономию потную, цвета кирпичного.

— Вам чего, дяденька?

— Наливай!

Пьет Галифе один стакан.

— Еще наливай.

Пьет другой... Пять стаканов одним духом опрокинул.

— Уф, хороша вода! Сколько тебе?

— Рубль.

— Хм, рубль... А зачем тебе деньги, мал еще!

— Как зачем, мы козу хотим покупать, сестренка маленькая, ей молоко требуется.

— Козу? Тогда получай,— и Галифе выгреб из кармана мятую зеленую трешку.

— Дяденька, может, вам еще?..

— А,— отмахнулся Галифе,— может, корову купишь. Р-р-разой-дись,— рывкнул вдруг. Толпа шарахнулась от него.

А козу Колькина мать действительно купила, и сестренка его ходить начала, ей уже третий год шел.

Ну, вот, стоим мы, значит, у забора, подальше от торгующих барахлом. От лепешек дух аппетитный идет, и хотя на вид они вдруг синюшными какими-то стали — ничего, горяченькие-то быстро разбирают, жуют на ходу.

И тут откуда-то из-за киоска завизжали:

— Держи-и-и! Держи, бей его!

Толпа раздалась, и мимо нас наклонно, почти падая, пробежал парень, держа перед собой буханку хлеба.

— Держи вора! — трое мужиков, а за ними, в отрыве, еще человек шесть гнались за парнем.

Вот он затерялся в толпе, снова вынырнул, побежал у всех на виду по насыпи. И тут его догнали. Смяли.

Бить стали, пипать. Мама прикрыла мне глаза ладонью, отвернула голову в сторону:

— Пойдем, пойдем, сынок, домой.

«Зато витаминов много»

Маленькая головка на тонкой шее, охваченной стоячим воротником черного школьного кителя. Серая челочка, свисающая на бровь (подергивание головой, отбрасывание челки). Острый носик, усыпанный бледно-коричневыми веснушками. Фамилия его была Ксенджик. Даже забыл его имя, все Ксенджик да Ксенджик. Однажды, когда мы сидели на одной парте, он признался мне по секрету:

— А знаешь, что означает моя фамилия? Попович, от слова поп, по-польски ксендз, понял? Только ты никому...

Какой же это был урок? Для анатомии мы были еще малы, биологию тогда не учили... Вероятно, ботаника, да — ботаника: Мичурин с седой бородкой, в шляпе. Бере зимняя, бельфлер-китайка... Ну конечно, ботаника.

А помните заучивание технологии выращивания каких-то нелепых кок-сагыза и тау-сагыза? Кому-то взбрело в голову, что, покрыв огромные просторы страны этими растениями типа одуванчиков, можно со страшной силой развить резиновую промышленность, паделать миллионы высокопрочных автопокрышек, внедрить отечественный каучук в авиацию, обуть мальчиков и девочек и все взрослое население в ботижки на резиновом ходу. О волшебный одуванчик! И вот каждый божий день — радио, лекторы Всесоюзного общества «Знание», тысячи учителей, миллионы школьников талдычили: кок-сагыз, тау-сагыз, кок-сагыз, тау-сагыз.

Ну и, конечно, изучение трудов Т. Д. Лысенко, «выдающегося ученого, биолога и агронома». Помню, еще

не зная ничего о «новаторском» учении Трофима Деписовича, а только разглядывая на портретах его лик с косой челкой, еще в то лихое время садили мы в гнезда глазки картофельные, очистки, ростки бледно-лиловые. Картошка вырастала!

— Откуда ты об этом узнала? — спрашиваю сейчас маму, 85-летнюю крестьянку. — От Лысенко?

— От какого еще Лысенко?

— Ну, кто тебя научил-то?

— Нужда научила.

Тычет Ксепджик-Попович ручкой в непроливашку и незаметно, под партой, рисует на запястье «татуировку» — морской якорь.

Софья Борисовна, с высокой старомодной прической, в черном платье с бантом под стареющим дворянским подбородком, ведет урок.

— Итак, мальчики, проверим домашнее задание. Интересное было задание?

На дом Софья Борисовна задала и вправду любопытное упражнение: записать в табличку все, что каждый из нас съест за воскресный день, и подсчитать калорийность всей этой пищи.

Ах, Софья Борисовна, милый наивный педагог, такие таблички заполнять бы сытым гимназисткам в 1913 году, а не бритоголовым пацанам средней мужской школы помер семнадцать в одна тысяча девятьсот сорок девятом году.

Помню, как я подгонял свой неказистый воскресный рацион под норму. Навыдумывал и сыр, и масло, и целых три мясных котлеты с соусом, и даже какао с молоком: хотелось показать, что у нас в доме достаток, иначе, казалось, стыдно...

— Коля Пономарев, начнем с тебя.

Коля, отличник, встает из-за первой парты:

— Завтрак: два яйца всмятку — столько-то калорий, полстакана сметаны — столько-то, бутерброд с сыром и чай — еще столько-то. Всего за завтрак — 1100 калорий.

— Так, хорошо, дальше, Коля.

Софья Борисовна, что же вы с нами делаете? Ну проверили бы Колю Пономарева так, сами, не вызывали бы его, сыночка закормленного. А Коля, отличник, шпарит дальше — салатами, и солянкой, и отбивными...

— Итого за день 4200 калорий.

— Так, значит, ты уложился вчера в норму и даже превысил ее, да? Хорошо, для детского организма такое превышение не вредно. А теперь проверим расчеты у... — и Софья Борисовна называет мою фамилию.

И я, дурачок, зачитываю свои выдуманные большие калории: масло, котлеты, какао.

— И у тебя хорошо, точно уложился в норматив. Ну еще, пожалуй... Кого мы давненько не вызывали? Ну-ка, Ксенджик.

Маленькая головка, стоячий воротничок, бледные щечки, подергивание непослушной челки...

— Завтрак: картошка с квашеной капустой, хлеб, чай — столько-то калорий. Обед: похлебка, картошка — столько-то калорий. Ужин: капуста, картошка, чай... Всего за день 1080 калорий...

Он закрыл тетрадку, улыбнулся, как бы извиняясь, дернул шеей, отбрасывая челку. В классе кто-то хихикнул.

— М-да, до нормы ты, Станислав, не дотянул...

Он пожал плечами:

— Не дотянул, — и стал рассматривать якорек на запястье.

— Но... это ничего. Это ни-че-го! — Софья Борисовна пожевала немолодыми губами, показав на миг золотые коронки. — Это ничего, — она поправила бант. — Зато у тебя, Ксенджик, в рационе много витаминов. Садись. А сегодня, мальчики, мы пройдем новую тему...

И она снова пожевала морщинистыми подкрашенными губами, глядя куда-то вдаль, за окно, где тянулись к небу узловатые пальцы безлиственных тополей, где по-черному чадила в бледно-голубом небе длинная кирпичная труба инструментального завода.

Здравствуй, милая картошка!

Рты они раскрывали широко и как-то наискосок, длинненько. Во все глаза глядели на пионервожатого — дирижера.

Ах, картошка объедеенье-деенье-деенье,
Пионеров идеал-ал-ал...

Белые безрукавки, алые галстуки, черные бумазейные шаровары. Сорок девятый год. Отряд имени Николая Гастелло поет на клубной сцене агитпункта. В зале народу порядочно: и знакомые пацаны с соседних улиц, и барачные пришли, и пенсионеры Иовлевы — завсегдатаи всех культурных мероприятий: ведь приглашение, которое им вручает агитатор, отпечатано на машинке, и бумага эта для них вроде повестки, может, им и не очень хочется на концерт, но — приходится, мало ли что...

Дым костра, углей сиянье-янье-янье,
Серый пепел и зола-ла-ла,
Дразнит наше обонянье-янье-янье
Дух картошки у костра-ра-ра.

Отчего же они так косо вытягивают рты? Наверное, из подражания вожатому Николаю Ивановичу. Замечательный был вожатый! То на лыжах водил ребят, то выставку рисунков устраивал, то задумал новогодний маскарад, то взбудоражил все городские организации состязанием за право носить имя летчика Гастелло. Сам он был преподавателем немецкого, румяный, высокий, на аккордеоне играл.

Белые безрукавки, бумазейные шаровары, бордовый перламутр трофейного аккордеона.

Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка,
Низко бьем тебе челом-лом-лом,
Даже дальная дорожка-рожка-рожка
Нам с тобою нипочем-чем-чем.

И аплодисменты, и радость на лицах, улыбки, свист, и даже бис, как настоящим артистам. А потом еще пели «По долинам и по взгорьям...», и «Летят перелетные птицы...», и «У дороги чибис...». А со скамеек кричат: «Э, пиоперы юные, головы чугуны, давай еще раз про картошку».

Нам хочется спеть на бис. Но из-за кулис уже машет розовыми ручками директор школы Ольга Викентьевна, шумно шипит:

— Николай Иванович, хватит, достаточно про картошку, вообще, заканчивайте.

А на следующий день вожатому, как говорится, была выволочка. На вызов директрисы он, молодец, пришел не один, а взял с собой председателя нашего отряда Владика Расковалова и меня почему-то позвал, может, оттого, что я был звеньевым, может, оттого, что пел звонче других.

Ольга Викентьевна усадила нас, сама же встала из-за стола с огромным каменным чернильным прибором и, прохаживаясь по кабинету, сказала:

— Николай Иванович, вы делаете хорошее дело. В четвертых классах поднялся процент успеваемости. Самодеятельность нашей школы, я надеюсь, займет одно из ведущих мест в районе. Но, Николай Иванович, — она взглянула на нас, — и вы, ребята, вы уже взрослые дети и должны понять, что вы поете. Я имею в виду ваш репертуар. Откуда взялась эта «Картошка», кто ее композитор? Николай Иванович, это ваша инициатива? Как вы считаете, дети?

— Ольга Викентьевна, — встал Владик Расковалов и зачем-то отдал салют, как будто рапортовал на сборе, может, с испугу, все же не часто бывали мы в кабинете директора, у меня аж язык к нёбу присох. — Ольга Викентьевна, я, например, картошку люблю, и все в нашем отряде...

— Картошку, милый, я и сама люблю, а вот петь про нее не стоит. Что вы, голодные, что ли? Не война ведь за окном. Эта песня просто позорит нас и нашу школу.

Нам было жалко «Картошку», но мы промолчали.

— Видите ли, Ольга Викентьевна, — начал было вожатый.

— Не надо, Николай Иванович, — она поправила маленькими ручками кружевной воротник под розовым подбородком. — Вы вспомните, что вы поете. Как там... картошка — пионеров идеал. Картошка — идеал! Чувствуете? Как может быть корнеплод идеалом юных ленинцев?

— Да ведь это с юмором сказано.

— Не надо, Николай Иванович, вы заканчивали вуз, а в зале сидят простые люди, трудящиеся района и... В общем, данную песню из программы исключить. Между прочим, я высказываю не только свое личное мнение, вы меня поняли? Мы справлялись в бюро пропаганды искусства, там подобного текста не зарегистрировано...

Она немного помолчала, как бы перестраиваясь на новый лад, опущенные уголки ее губ вдруг полезли вверх, левая бровь вздрогнула:

— Друзья, давайте лучше совместно подумаем о расширении программы. Концерт рекомендуется начинать с «Отцы о свободе и счастье мечтали...», и было бы просто великолепно, просто было бы замечательно, если бы вы смогли разучить прекрасную грузинскую песню «Цицинателла», вы знаете, чья это любимая песня? Это любимая песня завоблоно товарища Сахадзе, и он непременно будет на концерте. Вы знакомы с этой песней, Николай Иванович? Сможете?

— Попробуем, — сказал вожатый.

— Ну вот, собственно, для этого я вас и приглашала. Расковалов, поправь галстук, вот так. А тебе, — она подумала, глядя на меня, без замечаний она просто не могла, — тебе пора стричься.

Ольга Викентьевна обогнула стол, повернула нижнюю часть тела и ловко разместилась в кресле под портретом в тяжелой золотой раме.

...Начались новые репетиции. Времени до дня выборов оставалось немного, заявки на концерты так и сыпались: с заводов, из библиотек, из трампарка. «Отцы о свободе...» мы и так знали, это был гимн пионеров, кто же его не знал. С «Цицинателлой» было труднее. Николай Иванович хотел, чтобы мы пели ее по-грузински. Переписали под копирку непонятные слова. Пели, не понимая и не запоминая. Николай Иванович злился, из себя выходил:

— Был хор как хор, а теперь... Что вы, слова не можете выучить толком? Ксенджик, почему тебя не слышно, равняйся на Пономарева... Ведь «Песнь о вещем Олеге» в три раза длиннее, выучили...

Тогда мы придумали прикреплять булавками листы со словами на спины впереди стоящих: зрителям не заметно и запоминать не надо. Но опять беда — первый ряд возмутился: что мы, рыжие, что ли, все по бумажкам, а мы...

В конце концов, когда до выборов оставалось две недели, Николай Иванович выдал нам «Цицинателлу» на русском. Оказалось, что песня называется просто, красиво и даже сказочно: «Светлана-светлячок». И мотив у песни был запоминающийся, мечтательный, обволакивающий.

Мы выстроились на клубной сцене в два ряда, одни стояли на полу, другие сзади, на стульях. Николай Иванович плавно взмахнул рукой, и мы начали тоненькими девчоночьими голосами:

О Светлана-светлячок,
Как твой тихий свет красив...
Ты куда летишь, дружок,
Я молю, побудь со мной...

За кулисами, полуприкрыв глаза, кивала в такт песне Ольга Викентьевна. Концерт на выборах был общешкольным, наш хор лишь его началом. Она кивала в такт, и кружева на ее груди вздымались над бостоновым жакетом и тоже медленно покачивались. Время от времени она отодвигала край занавеса и незаметно взглядывала в первый ряд, где сидел завоблоно товарищ Сахадзе. Он улыбался, посапывая незажженной трубкой, и слушал, слушал, слушал свою любимую песню.

Только смерть потушит свет,
Нас навеки разлучив...

Мы пели на два голоса, девчонки в нашей школе тогда не учились, но мы и сами пели тонюсенькими голосами, а трое второгодников вместе с Николаем Ивановичем, как могли, басили.

Белые безрукавки, алые галстуки, красивая печальная песня.

Нас навеки разлучив...

И только смолкли аплодисменты, а Ольга Викентьевна, довольная, улыбалась и хлопала пухлыми ручками, а мы раскланивались все вместе под негромкую команду Николая Ивановича, как вдруг работяга с инструментального возопил с последнего ряда:

— Пионеры, давай про картошку!

Улица родная

Гошка с Лелькой бегали по улице, играли в ляпы.

— Лелька, ты на следующий год в школу пойдешь?

— Пойду, конечно. Чук-чурок, я не игрок. Гош, сви-
стни Володьку на улицу.

Гошка первым среди сверстников научился громко свистеть и страшно гордился этим. Он сложил крейфельком большой и указательный пальцы, сунул их в рот, поджал губы и звонко, на весь квартал свистнул. А Володька уже выбегал из ворот. Он бежал навстречу Лельке и Гошке, и они с удивлением прислушивались. Тротуар гремел под Володькиными ногами, как под копытами. Да он еще и прутиком размахивал, как саблей.

— Эй вы, — крикнул Володька, — смотрите, какие мне мама ботинки купила! — На нем были новенькие брезентовые ботинки на деревянной подошве.

— Ух ты! — заорал Гошка. — Дай померить, а!

Гошка живо скинул резиновые сапоги, надел ботинки и так же зацокал по деревянному тротуару.

Стояла теплая осень. Листья, как золотые огромные звезды, тихо осыпались на тротуар, ложились на дорогу, на крыши. А в канавах их столько накопилось, что можно было, играя в партизан, зарыться с головой и незаметно поджидать противника. А можно было просто лечь на спину и смотреть в серо-голубое небо сквозь редкую сетку облетевших кленов и тополей. Иногда проплывали в небе птицы, наверное, потянулись к теплу. Только как же они будут жить там, где сейчас война?

Низко-низко пролетал У-2. На его крыльях были нарисованы гордые красные буквы: СССР. Самолет летел так низко, что виден был летчик в желтом кожаном шлеме и больших пилотских очках. И тогда ребята, забывая игры, подбрасывали вверх фуражки и пилотки, свистели и кричали:

Эроплан, эроплан,
Забери меня в карман...

Подпрыгивая, гнались Володька и Гошка за самолетом:

А в кармане пусто,
Выросла капуста! —

выкрикивали они веселую белиберду. А когда самолет скрылся за заводскими крышами, за каланчой, за парком, они, запыхавшись, враз остановились, уставились на незнакомого человека. Человек этот нес пустой зеленый солдатский вещмешок и лопату.

— Глядите, глядите,— затараторила подбежавшая Лелька,— картошку хочет найти.

И правда, человек положил в борозду вещмешок, снял ремень и принялся перекапывать газон возле дома, где жили ребята.

— Говорю вам, он картошку ищет! — опять защебетала Лелька,— только шиш найдешь, Ярцевы, когда убрали, сами два раза перекапывали.

— Да молчи ты,— цыкнул на нее Гошка.

А человек все копал и копал. Шинель без ремня моталась на нем, как на палке. Впалые щеки были серыми от щетины. Он часто уставал, видно было, что правая рука у него болит. Он морщился от боли и снова давил сапогом на лопату. Иногда он наклонялся и выбирал из комьев несколько маленьких, чуть больше горошины, картофелин, бросал их в мешок.

— Голодный сильно,— проговорил Гошка,— откуда это он?

— С фронта, наверное, домой добирается,— сказал Володька.

— Дезертии-и-и-р,— шепотом пропела Лелька.

— Сама ты дезертирка, не видишь — раненый,— оттолкнул ее Гошка.

Человек повернул к ребятам усталое лицо, по-доброму улыбнулся и вытер платочком лоб.

— Ну что, пацаны, как житуха?

— Нештяк, дядя,— сказал Гошка,— нынче урожай картохи добрый был, жить можно. Вот Гитлера наши разобьют, тогда, мамка говорит, и хлеба прибавят.

— А мы в школу скоро пойдем,— сказала Лелька.

Военный прислонился к столбу и закурил самокрутку.

— Молодцы, ребята, так и думать надо. Добьем фашиста — заживем! А я вот подремонтировался в вашем городе в госпитале, теперь — на пару недель домой, а там снова на фронт, гнать гадов.

— Дядя, а у вас какое ранение, среднее или тяжелое? — спросил Володька.

Военный расстегнул верхние пуговицы гимнастерки и отогнул ворот.

— Ух ты! — в голос сказали ребята, разглядывая бело-розовые шрамы на шее и ключице раненого... А Лелька даже отступила немного назад.

— Вот так, — снова улыбнулся он, — сами судите, тяжелое или среднее. Мне бы вот до Крутихи добраться, а там уж до дому пешком добегу... Был у меня сухой паек на дорогу, — как бы извиняясь, добавил он, — да мы с одним майором на прощанье закусили. А ему будь здоров до Тюмени добираться. Дома его двое ребятешек ждут. Ну я ему отдал остатки, думал, дня за два доеду на попутных, — не получилось, вот и приходится... Ничего, спички да махорка есть...

— Дяденька, давайте, мы дома попросим, принесем вам картошки, — сказал Володька.

— Отставить, — посерьезнел военный, — добудем сами. Ну ладно, пацаны, идите играйте, а я вон на том участке еще попробую.

— Чур, не я ляпа, — пискнула Лелька и бросилась наутек.

Володька с Гошкой погнались за ней, догнали, и, собравшись в тесный кружок, ребята о чем-то зашептались. Потом они живо разбежались по домам, а минут через пять незаметно, пригибаясь, перебежками и по-пластунски стали пробираться к куче ботвы возле угла квартала. Карманы их телогреек были оттопырены и неудобно били по ногам.

Раненый тем временем копал газон за газоном.

Быстро разрыв пальцами ямку в гряде, Гошка, Володь-

ка и Лелька высыпали в нее розовые и желтые клубни и разровняли землю. Спрятавшись за огромной ботвяной горой, они стали ждать.

— Вдруг он устанет и не дойдет до этого участка?

— Может, лучше подкрасться и в мешок ему сунуть?

— Надо было еще соли завернуть в газету и зарыть вместе с картошкой, — предложила Лелька.

— Ну ты даешь, он же сразу догадается, что это мы!

Человек тем временем уже переходил на участок, где ребята приготовили для него пищевой склад. Он закурил, устало затыкнул. Завязал мешок. И подпоясался ремнем.

И тут он заметил на грядке небольшой бугорок. Он ковырнул его сапогом, потом взял лопату, и... десятка полтора крепких, как поросята, картофелин вывалились с лопаты вместе с синеватым черноземом.

Солдат выпрямился, огляделся, хмыкнул, положил картошку в вещмешок и пошел в сторону тракта. Он шагал и шагал. И вдруг резко оглянулся.

Володька и Гошка едва успели сдернуть с кучи Лельку.

Солдат еще мгновение постоял и решительно пошел к югу, в свою Крутиху.

В это время над головами ребят снова затарахтел красноразвездный двукрылый самолет, это курсанты школы ВВС отрабатывали курс вождения.

— Ура! — Гошка подкинул вверх охапку листьев.

— Ура! — закричала Лелька и вскочила на кучу ботвы.

— Эроплан, эроплан, забирай меня в карман, — затыкнул Володька, в такт пристукивая деревянными каблучками.

И ребята увидели, как летчик, пролетая над их улицей, посмотрел вниз и помахал им рукой. Им казалось, что он увидел и услышал их. Может, это так и было. А может быть, летчик вспомнил, как он сам недавно был

пацаном и как ему радостно было выкрикивать и бежать за самолетом:

А в кармане пусто,
Выросла капуста!

Вот он и помахал рукой тем, кто его приветствовал с земли.

ВСЕВОЛОД КАЛЕНАЯ СТРЕЛА

Зачем это тебе?

— Ну зачем это? Ведь только овощ портишь, отец увидит, он тебе...

Опираясь на тяпку, мать смотрела, как Севка укреплял на молоденьких фиолетово-зеленых картофельных стеблях какие-то желтоватые травинки.

— Ма, неужели непонятно? — поднимал брови Севка. — Томаты на картофеле, они же одного класса — пасленовые.

— Пасленовые, — шуровала мать тяпкой, — и откуда ты все выкапываешь?

— Из книжек, ма. И Софья Борисовна на ботапике опыт показывала.

— Так ты возьми и посади помидоры отдельно, вон, в углу, у забора, не беспокой картошку-то.

— Ма, ну как ты не понимаешь? У меня — опыт по окулировке двудольных. Если получится, в будущем году привьем на все картофельные кусты рассаду помидоров, представляешь — двухэтажный урожай!..

— Может, еще к помидорам что-нибудь привить — трехэтажный получится?

— Идея!

...Через четыре дня безжизненно поникшие вначале стебли выправились под теплым солнечным дождиком и выпустили молодые резные пахучие листики. А еще через три недели помидоры зацвели. Прижились, цвели на картошке!

Все же Севка боялся снимать лыковые жгутики, которыми он укрепил привои, да они, кажется, и не мешали ни картошке, ни помидорам. «Созревай, двухэтажный урожай-ай-ай!» — по-индейски приплясывал Севка, воздевая к небу ладони.

Теперь Севку занимало одно: вот придумать бы такую машину, которая сама надрезала бы стволы подвоя, высаживала привой, главное же — закрепляла его сама особым кольцом. Одно дело — опытный Севкин участок, другое — преогромные русские поля, с перочинным ножиком да мочалом пойдешь-ка управься...

Вечером он рассказал ребятам об этой машине, но ни Женька, ни Юрка, ни Венька ничего толком придумать не могли.

— Вот приедет из лагеря Фомич, может, он... — сказал Венька.

— Помидоры и на базаре можно покупать... — сказал Юрка.

— Тоже мне, Мичурин нашелся! — сплюнул сквозь зубы Женька.

Тогда Севка помчался в большой дом, где жил студент Матвей Матвеев. Матвееву идея понравилась. Целых полмесяца, как настоящий студент, ходил Севка в большой дом с трубкой чертежей. И однажды, когда ребята возвращались с Патрушихи, с рыбалки, им встретился Севка.

— Ты, — встал на его пути Женька, — что больно важным стал? Даже очки на улице не снимаешь...

— Сниму, — сказал Севка. — Глядите, мы с Матвеем машину придумали.

Он развернул лист ватмана, и ребята увидели какие-

то жирные и тонкие линии, круги и кружочки, зубчатые колеса и ладно выписанные цифры.

— Понятно,— выпрямился Женька.— А это что? — ткнул он ведерком с рыбой в квадрат, нарисованный внизу чертежа.

— Это? Ну, это вроде штампа, что ли, понимаешь — на каждом чертеже печать полагается от копторы, где его вычертили.

— Понятно,— снова сказал Женька.— Почему на штемпеле стрелы?

— Ну... это... Это я так придумал: все, что трудно дается, и вообще все, что вредит,— черная стрела. А все, что все равно победит,— каленая стрела, красная. Вот они и перекрещены, эти стрелы...

— Ты что, нас за дураков считаешь? — приставил Женька удилище к Севкиной груди.— И так ясно — черная, красная... Надо твоей кошке гольянов — бери,— неожиданно предложил он.

...Темно-синие спинки гольянов в серебристом ведре...

Вот что было удивительно: обычные помидоры, на грядках, только еще отцветали, на Севкиных же кустах уже красновато бурели небольшие тяжеленькие бамбошки. А ведь он как будто чувствовал: не надо, не надо было спать той ночью. Чудилось ему — иней выпадет, или полчище крыс нападет на огород, или пацаны с чапаевской улицы задумают... Хотя чего бояться, заморозков в августе не бывает, а пацаны больше за яблоками, за капустой, что, Севка сам не страдовал, что ли...

Рано-рано утром, в доме еще спали, поволок Севка, оттопырив локоть, тяжелую почерневшую луженую дедовскую лейку — полить свои опытные кусты... Полить свои, свои... кусты...

На кустах не было ни одной помидорины. Птицы, крысы — кто это? Севка забегал вокруг грядки по прохладной мокрой траве. Он тут же увидел помидоринки, недалеко, в лопухах, у самого забора.

На заборе белел бумажный листок, измазанный помидорной мякотью. На листке была начертана большая черная стрела.

Нет, реветь он не стал. И матери — ни слова.

А чего их бояться?

— В одном черном-черном лесу стоит черный-черный дом, в доме — черная-черная комната, в комнате — черный-черный стол... — начинала таинственно и тягуче, то-неньким голоском Наташка.

И хотя все знали, чем закончится эта «черная» история, все же ждали ее конца — все равно кто-нибудь да испугается, а главное — пойдут сейчас истории, одна страшнее другой.

Темно и пасмурно. Кое-где только светятся окна да тусклые лампочки возле домовых фонарей, обтянутых металлическими сетками. Особенно нравится всем история про партизаниху. Лучше всех ее знает Вовка.

— ...Лицо у партизанихи — все в шрамах, волосы седые, партизаниха всю войну прошла, четырех «языков» взяла. Вот, понял, пошла она со своими подругами на Ивановское кладбище, решили они там отдохнуть. Сидели на могилах, грелись на солнце, бои вспоминали. Разморило их, понял, они и заснули. Партизаниха проснулась, темно кругом, дождь моросит, подружек рядом нету. Что делать? А, ей не привыкать, подумаешь — кладбище, пошла спокойно к выходу. И вдруг, понял, в яму в какую-то, в старую могилу, сыграла. Хочет вылезти — не получается, края осыпаются. Хотела на помощь звать — какая ночью на кладбище помощь? Слышит партизаниха — голоса приближаются. Затаилась она. Подходят трое,

переговариваются. «Кидай сюда», — говорит один. Другой, по голосу пацан еще, бросает в могилу один мешок, второй. «Порядок, — говорит старший, — поутру добро поделим, не обижу. Федор, посвети, проверим, чтоб не заметно было». Федор спичками чиркает, не загораются спички на ветру. А партизаниха в это время положила мешки-то один на другой и влезла на них. «Дай-ка мне, — говорит старший. — Посветить, сявка, не в состоянии». Берет он сразу три спички, как чиркнет ими... Волосы-то у нее еще больше разлохматились, через все лицо — шрам от сабельного удара. Как им засвистит вслед партизаниха!

— А дальше? — спрашивает шепотом Наташка.

— Что дальше? Дальше пришла она спокойно домой, хватить дверь за ручку — дверь открыта, глядь в сундук — сундук пустой, ее, понял, эти-то и очистили! Ну, милиция, ясно, занялась. Нашли их.

— А что, пацаны, — добавляет вдруг Фомич, — слабо ночью через все Ивановское пройти?

— Сам-то прошел бы? — цвиркает сквозь зубы Женька.

— Я? Я — запросто. Мы в пионерлагере все время через деревенское кладбище ходили, когда давали концерты в клубе.

— Так то целым отрядом, с барабаном еще, со знаменем.

— А я бы и один прошел, подумаешь... Эх вы!

Мы-то знаем — опять заводит нас Фомич, сам небось не рискнет. Во дает: одно дело какое-то маленькое сельское кладбище, другое — наше старинное Ивановское, с поваленными крестами, с черными соснами, с провалившимися могилами. Партизаниха и та, говорят, тогда еще больше поседела. Не, Вадюша, ты нас своими баснями не корми, не закупишь.

— А что? Я завтра, наверно, пройду.

Все смотрят на Севку, на маленького очкастого Севку,

который совсем недавно появился на нашей улице. По годам он нам ровесник, а вот ростом поотстал и вообще хилак. Все чего-то на огороде у себя роется, всю весну у него ухо болело, на рыбалку с нами раза два ходил, а если в футбол, так разве что на воротах.

— Ты? — натягивает ему Фомич на нос кепку.

— А что? Кто со мной? — поправляет Севка кепку.

— Я-я... — заикается Наташка. — Я не пойду.

— А я пойду, — поднимает руку Юрка.

— Ты-то уж сидел бы дома за печкой. Хорошо, — поворачивается Фомич к Севке, — если ты пройдешь один, а можешь и с этим, с малолеткой... если ты пройдешь в два часа почи через Ивановское, получишь орден почета и славы нашего штаба. Не пройдешь — гонишь нам весь свой набор городков и исключаяешься из штаба! По рукам?

— Я не для этого.

— А для чего?

— Ну... чтобы себя проверить.

— Ну что ж, — хлопает по-командирски по Севкиному плечу Вадим, — проверяй. А все же, если не пройдешь... Кстати, а чем ты докажешь?

— Оставляю знак на двух памятниках — у писателя и у летчика.

— Пойдет! — говорит Фомич. — Но еще... еще оставишь знак на большом каменном кресте, что на могиле пона возле паперти.

— Оставляю, — говорит Севка.

— Не... — говорит Наташка. — Не, ночью, через Ивановское! Не, я бы ни за какие сокровища.

— А за женихом бы небось как миленькая побежала, — хохочет Венька.

— Дурак, — говорит Наташка.

Они миновали уже половину кладбища. Юрка так крепко ухватился за Севкин локоть, что тот в конце концов не вытерпел:

— Да отчепись, чего ты своими когтями...
— Сев, а тебе разве не страшно, Сев?
— Не отставай.
— Ой, мамочки... Далеко еще?
— Ты на писателе четко знак поставил?
— Нормально. Сев, долго еще?
— Если по прямой — метров четыреста, там стена каменная, в ней пролом есть.
— Сев, давай бегом к стене, а, Сев?
— Ты что, забыл про поповский памятник? Это туда, за церковь.

— Да ну его к черту, этот... Севка, давай к пролому! И эту медаль — ну ее... Вдруг кто-нибудь... О, слышишь, стой!

— На, держи фонарь, с фонарем не так страшно.
Хорошо, что Севка захватил с собой старый фонарь «летучая мышь». В фонаре была дверца, в дно вставлялась свечка, а стекла с четырех сторон перекрещены железными полосками.

— Осторожно с фонарем, не стукни... Хоть бы свечки до конца хватило.

Строгие черные сосны уходили высоко-высоко, теряясь в чернильном небе. Едва заметно теплящиеся звезды казались малюсенькими фонарями, с которыми пролетали над кладбищем не то души усопших, не то инопланетяне. Но им-то что, им там, в небе, не боязно, попробовали бы здесь, по этой дороге, когда с каждой стороны клонятся к тебе, будто хотят остановить, схватить, придушить, кресты, пирамидки, каменные статуи, колючие кусты. Жутко позванивают на ветру жестяные листья венков. Пахнет тополиной листвой, увядающими лопухами, куриной слепотой, коноплей и еще чем-то сладковатозатхлым, чем всегда пахнет на кладбищах.

— Севка, Севочка, где ты? Се-е-е-вка!

— Да здесь, здесь я, чего ты? Юрка, тут направо надо, по тропинке, иди вперед, держи на колокольню.

— Эх, я б-б-бы з-знал... Тут зайкой останешься. Слышишь, опять там... Ну, слышишь?

Севка хотел было как-нибудь успокоить Юрку, да сам осекся.

— Это, э-т-т-то, Юра, че-че-человек, наверно.

Юрка так и присел на тропинке, зубы его часто-часто застучали.

— Мертвец, мертвец, Севка.

Из кустов, из темноты, переваливаясь по-медвежьи, попыхивая сигаркой, вышел человек в зимней шапке.

— Вы чего здесь шастаете?

— А мы... это...

— Мы на спор, на медаль штаба.

— Знаки... это... на памятнике попу.

— Чего мелете?

— А вы, вы кто такой?

— Хожу, ногу свою ищу, — наклонился старик.

Севка взял у Юрки фонарь и, словно повинуюсь какому-то приказу, посветил старику на тропинке. Одна нога у старика была настоящая, в сапоге, другая — деревянная ступица.

— Не вы, случаем, ногу-то съели, а, отвечайте!

Севка вскинул фонарь вверх, и ребята увидели желтый ощеренный рот и выпуклые красные глаза старика. Вот тут, как они потом рассказывали, волосы у них на голове прямо зашевелились, хоть и были они оба подстрижены «под ноль», зашевелились волосы, встали дыбом.

А старик только ухнул, не то засмеялся, не то закашлялся.

— Не бойсь, — сказал, прокашлявшись, — я сам вас боюсь, пошли.

— Куда пошли? — в один голос выпалили Севка с Юркой.

Севка незаметно достал из заднего кармана штатков дедовский трофейный перочинный ножик, пытался открыть его, фонарь мешал.

— Не бойсь, говорю. Сторож я, ну сторож кладбищенской конторы, чего как истуканы... Давай знакомиться, путешественники,— он снова затянулся, высветив на момент вовсе и не вытаращенные, а прищуренные и даже как бы улыбающиеся из-под лохматых бровей глаза.— Могильников, видите, какое у меня фамилиё подходящее... Егор Егорович. Ну, уверовали? А то ведь так-ту перепугать друг дружку недолго. Пошли в сторожку, горячими печенками попотчую.

— Дедушка,— перекатывал в ладонях горячую картошку Юрка,— а как вы здесь один не боитесь?..

— Кого бояться?

— Ну этих... мертвецов?

— А чего их бояться? Живых бойся. Среди живых поне немало всякого жулья развелось, а мертвецы, они и есть мертвецы, то есть упокойники, которые покой любят. Про партизаниху-то слышали?

— А что, это правда? — дул в блюдце с чаем Севка.

— Как не правда,— шуровал старик в печке.— По-разному токо сказывают, а так... В мое дежурство случилось, заснул я, после выговор от начальника конторы схлопотал.

Помолчали, глядя в печку, в огонь.

— Ну, пошли, молодцы! Который уж час-то? Провожу вас...

— Спасибо, дедушка.

— Спасибо, Егор Егорович, за чай, за печенки, вы уж нас не провожайте, нам еще до поповского памятника.

— Сев, может, ну его, а ?

— Молчи... Нам знак только поставить, а то пацаны не поверят.

— Что еще за знак, монумент портить?

— Да нет, мы слегка только, мелом, сзади.

— Ну, коли мелом... Это на архиерейском-то, что ли? Так это же вона, рядом.

- Мы сейчас, мы быстро!
- А что за знак-то?
- Знак — две стрелы.

Юрка и Севка сидели на шершавой каменной стене над проломом. Сзади, за их спинами, темнело вековыми соснами, белело гранитными памятниками старое городское кладбище, охраняемое добрым инвалидом стариком Могильниковым Егором Егоровичем. Перед ними, будто большие дрейфующие корабли, плыли высокие бледные голубые, розовые, белые дома нового микрорайона. Светало.

— Сев, а помнишь твои, эти самые, мичуринские-то помидоры на картошке?

— Ну?

— А знаешь, кто их выдернул и раздавил?

— Доносчиков не терплю.

— Я и не думаю ябедничать.

— Чего же треплешься?

— Я их тогда оборвал.

Вот поправляюсь, и...

По таким крутым, извилистым — того и гляди, врежешься с лета в сосну или березу — лыжням на обычных лыжах и не думай прокатиться. Пробовал один, Кутайсов, мастер спорта, и то в конце горы сам упал на бок, почувствовал — не выдержат клееные финские лыжи последнего трамплина. Гора Золотуха — не самая высокая, до Уктусских ей далеко, но для пацанов Золотуха — то, что надо: наверху гора лысая, есть площадка, где можно собраться. У подножья — поляна, для крутого, пылящего голубой искрящейся пылью виража снежная поляна. А еще вот чем хороша горюшка — есть на ней простень-

кие, пологие лыжни — для малышни и девчонок, есть покруче, со снежным трамплином в конце, а есть и вот эти, всеянные, с несколькими трамплинчиками, с неожиданными отворотами от несущейся прямо на тебя толстенной замшелой сосны, с резким свистящим ветерком, высекающим слезу из глаз, с ловким, вовремя, наклоном туловища вправо-влево, с аховым взлетом над последним трамплином и — гордым, шуршащим победным виражом там, внизу, на белой поляне. Не всякий решался броситься по такой трассе.

Севка решился. Такой он был, знали, заведется — не удержишь. Ну и, конечно, воткнулся хилjak головой в снег. Лыжина — с треском пополам, ноги кверху. Говорили ему — не проехать на обычных лыжах, длинных, говорили — обрежь наполовину, закрепи потуже на валенке сыропятиной, тогда и... Да и то прежде потренируйся на малых спусках, прищоровись. А то с непривычки... Взять нас, местных, сколько уж лет на лыжах, а с главного спуска — лишь старшие пацаны, и то не каждый. А он — два года как на лыжи встал, ведь приехали они с матерью и отцом откуда-то с Украины, вот и маши теперь по воздуху валенками.

Дома Севка ничего не сказал. Только пораньше юркнул под одеяло и долго потирал зашибленное колено.

Есть у них в кладовке еще одна пара лыж, алые, с белой полосочкой. Отец подарил их матери на Новый год. Мать тогда еще посмеялась: «Ну какая я без тебя лыжница, ведь опять на полгода к белым медведям. Ох, когда же мы нормальной-то семьей заживем?»

И утром Севка решился. Он выволок потихоньку эти алые лыжи из-за сундука, из-за кадушки с соленой капустой, из-за каких-то глиняных горшков с грибами и огурцами. Он выволок их бесшумно и сразу же — во двор к Женьке. В сараюшке, на верстаке, отпластали они ножовкой одну алую лыжину с белой полосочкой и другую, укоротили их. Теперь то, что надо, вот теперь и с

Золотухи можно, хоть с трамплинной, а хоть и с той, смертельной, лыжни.

Только бы мать не узнала. А как она узнает? Пока будет держать Севка лыжи в сугробе или у Женьки, в сараюшке, а потом, потом поставит незаметно в кладовку, они матери даже больше сейчас по ноге.

Ясно было, морозно, да не очень, пар изо рта вылетал, солнце хоть и не грело, а радовало. Снег прошел неделю назад, обновилась лыжня, обкаталась.

— Ты чего, опять? Мало тебе? — крикнул Севке Фомич, стоя наверху Золотухи. — Валяй вон по той, там хоть в сосну не воткнешься, тебя в школе учили: лес надо беречь!

— Не, я здесь, я должен попробовать. /

— Ты же пробовал.

— Если один раз не получилось, надо всегда снова пробовать.

— А если опять корабельную рощу уничтожать начнешь? — не унимался Фомич.

— Все равно буду еще... и еще.

— Ну смотри, салага. Что родителям-то потом передать? А лыжки у тебя классные. Импорт? Смотри-ка, и фирменный герб со стрелами, сам нарисовал?

— Так и было, — натянул Севка рукавицы потуже и подошел к спуску.

Далеко внизу неся, то появляясь, то исчезая за деревьями, Женька. Ладно у него получалось, ловко.

Маленькая Севкина фигурка, набирая скорость, заскользила вниз по ровной и гладкой лыжне. Все убыстрялось движение, все убыстрялось... Вот уж замелькала синяя Севкина куртка и красные его лыжи между сосен. Вправо-влево, туда-сюда, а здесь вот присесть пониже, и первый трамплин, как ладонью, подкинул Всеволода, невысоко так подкинул, бережно. А тут и новый поворот, тот, знакомый. Но что-то чернеет впереди на

лыжне. Эх, корень, кажись, сосновый, коряга проклятая вылезла из-под снега. Успеть бы, поднять бы тут левую лыжину...

С криком перевернулся Севка, снежным шаром, футбольным мячом покатился он вниз. И вдруг ребята увидели, как вскочил он опять и на одной уж лыжине заскользил дальше, вниз, левую лыжину с обломанным носом держа на весу. Главный снежный трамплин! И снова наш Севка — в сосну, только щепки, кружась, полетели. Жив ли? Жив.

В голове у него гудело. И будто огоньки зеленых, синих и красных ракет вылетали из глаз. Ребята подъехали.

— Ну? Что? Как ты?

— Нога.

Женька стянул с него валенок, а Фомич уверенно, будто доктор, проверил сустав.

— До свадьбы заживет, обыкновенный ушиб.

Прихрамывая, покандыбачил Севка домой, волоча обломки от фирменных лыж: «Хоть крепления снять, может, склею еще». Пацаны, шурша, скользили на лыжах. Темнело.

У самого дома помутилось вдруг у Севки в голове, он даже присел на снег у забора.

— Сотрясение, наверное, — заключил Фомич, — шапку ему развяжите, снегу надо к затылку.

Распустили узел на шее у Севки, начали шапку стягивать, а он как закричит. Заглянули — под шапкой кровь запеклась. Еще потянули — не получается, вопит Севка.

— Отмачивать надо, присохло. Жека, беги за бинтом. Обмотали Севке голову бинтом поверх шапки.

— Утром надо в больницу.

А утром приехал отец. Когда увидел отец в сенях обломки фирменных лыж, взялся за ремень, хотел врезать Севке по первое число. Мать отца удержала.

Севка лежал на подушке в перебинтованной шапке, молчал. Сильнее, чем голова, болела нога.

...Когда ребята пришли к Севке, он прыгал по комнате на двух костылях, далеко вперед выставив обмотанную в белое ногу.

— Во, гипс, постучите.

И все уважительно постучали по гипсу. Потом Фомич сказал:

— Всеволод, мы решили тебе... Жека, давай!

Женька выскочил в сени, тут же вернулся и, плотно прихлопнув закуржавевшие в притворе двери, приставил к Севкиной кровати лыжи.

— Ребята,— сказал Севка,— вы... зачем вы?

— А мы у физрука выпросили, из списанных, задники были треснуты, мы их спилили, самое то!

— И знаки твои выжгли со стрелами, видишь? Поправишься, и...

— Да вот поправляюсь, и...— Севка скосил глаза на кухню, где мать что-то готовила на плите, и поправил повязку на голове.

Севкина мать усадила всех ребят за стол, накрытый не клеенкой, а голубой скатертью с кистями, и напоила чаем с малиновым вареньем.

— Только после чая — все по домам, после малины легко застудиться.

Потом и Женька, и Юрка, и Венька, и даже Фомич попробовали ходить с Севкиными костылями, подогнув одну ногу, они попрыгали немного по комнате...

Стало тихо. Ушли. Лаково поблескивая коричневой краской, две уктусских лыжины стояли, прислоненные к кровати. Если долго смотреть на них, то порою казалось — мчатся лыжи по печке, как по белому снегу, вверх, вверх по печке, все вверх.

Ну кто же первый?..

Наверное, это был самый маленький из аэропортов: изба, черно-полосатый сак над избой, взлетно-посадочный пятачок.

Нас, ожидающих рейсового вертолета, набралось шесть человек. Все, кто хотел отметить Новый год на Большой земле, видимо, уже улетели. Нам же предстояло добратся до областного центра, а там уж — поезд, авиалайнер — кому куда.

Шесть человек... Высокий, с солидной полнотой, — наверно, представитель какого-нибудь главка, — в укороченном темно-сером пальто. На Угримское летное поле доставлен на вездеходе, и, видимо, уверовав, что вертолет, как и положено, прилетит в полдень, он отпустил машину. А вот уж третий час...

Вторым ожидающим пассажиром был парнишка, еще не юноша, уже не мальчик. Смуглое лицо, белесая челка, выглядывающая из-под такой же почти белой заячьей шапки, — по виду ему больше подошло бы название отрок. Привез отрока в аэропорт совсем несхожий обликом с сыном чернобородый нефтяник-отец. Прождав около часу, искуриив полпачки «Беломору», он оставил сына со знакомой учительницей.

— Вы его только до Тюмени, а там у нас родня, так что...

— Отец, — мальчик по-взрослому взглянул на отца.

— Да-да, вы особенно не беспокойтесь, не маленький, не впервой.

— Держи, — он сунул в руки отрока небольшой рюкзак, — тут тебе и сестренке, матери скажи — сдадим пусковую в конце первого квартала, — прилечу, деньги ей перевел вчера, в общем... Давай пять.

Коротко, по-мужски обнялись они, отец уехал, а сын долго еще смотрел вслед машине, вихляющей кузовом между сугробами.

Еще один, пришедший раньше всех, сидел в углу избы, у окошка, на табуретке, под большими его пимами чернели лужицы растаявшего снега. Серая солдатская шапка была натянута на глаза, так что лица его никто не разглядел. Сидел он, дремал, порою и всхрапывал.

Шестой — шестой, хоть и не пассажир, но, может, даже больше нас ждавший вертолета или самолета, — сторож, он же начальник Угримского аэропорта, старик, которого все здесь знали и называли как-то просто, по-домашнему, не по-стариковски Вовой.

— Вы не сумлевайтесь, товарищи, прибудет ваш рейсовый, как пить дать прибудет. — Вова то и дело выбегал из избы, поднимал ухо у шапки, вглядывался в небо.

Выходили вместе с ним и мы, также вперяясь во все усиливающийся густой, настоящий предновогодний снегопад.

— Эк занепогодило, никольские миновали, а вот снежище ныне — не в пример другим зимам... Но прилетят мои соколы! А коли задержутся... Мы с вами счас живо картови напечем, чайку с душицей.

Старик завозился у печки. Храпун, недовольно что-то пробормотав, подобрал ноги, продолжая посапывать.

— Вот товарищ правильно делает, — смеялся Вова младенчески розовыми деснами, — отдыхает себе, первы не портит.

...Погода для севера была теплой, необычной, и если бы кто-нибудь впервые оказался в эти дни в Угриме, едва ли поверил бы, что еще три дня назад стояло под пятьдесят. Но подули вдруг с моря теплые ветры, напесли миллиарды узорных снежинок, спутали все календарные погоды, напомнили северным новоселам о давних милых праздниках в родных местах, откуда подалось большинство в эти не так давно необжитые места, бывшие когда-то, в царские еще времена, гнилой болотной ссылкой, диким Обдорским краем. Летел и летел снег, ложился на балки и вагончики, засыпал дороги и стройплощадки, покрывал

попонами сиины хантыйских оленей и нефтебазовских вездеходов...

И вдруг мы слышали — тарыхтит что-то в небе, стрекочет, приближается, высыпали из избы.

— Говорил я вам — прилетят мои соколы, — шуровал Вова метлой, в который уж раз разметая посадочный пятчок.

«Ура! — так и хотелось крикнуть мне, даже шапку снял. — Буду к празднику за белой скатертью, под елочкой со свечами, рядом с той, кому писал, к кому лечу, с которой не виделся триста шестьдесят пять дней».

— Я уж думал, засядем, — широко улыбался главковец, укрываясь от снега воротником. — Молодцы все же наши авиаторы, нет им преград.

...Не наш оказался вертолет, не рейсовый, а грузовой, доставил он мясо для газовиков и нефтяников. Доставил и улетел.

Десяток растерянно растопыренных туш розовело на снегу. Прилетела одна сорока, другая, шестая, вот и еще планируют. Раздраженно треща, поглядывали в нашу сторону, рвали сороки мороженое мясо, терзали его клювами. Пробовали мы их шугануть, бесполезно, отлетят на время и — опять за свое.

— Ох, треклятая птица, — беспокоился Вова, — да и эти, из орсу, не едут, что я — нанялся им караулить? Пути, видать, сильно замело. Пошли-ко, — махнул он рукавицей подростку.

Старик и мальчик взяли из поленницы пять длинных лесинок и начали втыкать их в снег, окружая туши. Потом старик привязал к одной палке веревку.

— Держи конец, — крикнул он отроку, — вяжи на другие.

Получилось как бы охранительное ограждение.

— Порядок, — сказал старик Вова.

Сороки, сварливо вскрикивая, уселись в стороне на снегу, на соснах.

— Неужели поможет? — спросила учительница.

— Ни одна не отважится.

Сороки взлетали, приближались к ограждению, опять отлетали. Жалуясь и возмущаясь, трясли длинными хвостами, керкали, трещали, раздражались. Не улетали, но и на мясо сесть не решались. Черно-белый полосатый сак то надувался порывами ветра, то вяло повисал, покрываясь снегом.

Снова собрались мы в избушке. Старик засветил фонарь, подвешенный к потолку, подбросил в печь дров. Печка радостно зафурчала, отбрасывая на лица красноватые блики.

Учительница с отроком молча сидели на лавке, поближе к окну.

Главковец разместился на единственном резном стуле, обитом дерматином, более уместном в его кабинете, чем здесь, в северной теплушке. Старик все суетился, выбегая в сени и в кладовку.

— Ничего, товарищи, мы сейчас с вами чайку с душицей.

В избе быстро нагревалось. Храпун уже не спал, а достав из мешка кусок хлеба, с полдюжины яиц, облупливал их одно за другим, запихивал целиком в рот, жевал, запивая из бутылки. Потом он долго ковырял в зубах снычкой, циркая и выплевывая крошки. Потом достал большой, не уместающийся в ладонь портсигар и, откинувшись к стене, закурил, прикрыв глаза. Едкий першливый дым заполнил избушку.

Да, вот тут все и началось.

— Извините, — держась за горло, сказала учительница, — извините, может, вы покурите на воздухе?..

Храпун даже не взглянул на нее. Уж не глухой ли, подумал я.

— Товарищ... — снова обратилась женщина, — не курите, пожалуйста. Если бы... понимаете, я не могу, у меня сейчас такое положение, извините...

— Заткнись, шалава,— не открывая глаз, сказал храпун.

Мы настолько все опешили, что, наверное, не только мне подумалось: не ослышался ли? Главковец приподнялся было со стула. А старик как согнулся у топки с поленом в руках, так и замер, не разгибаясь.

— Ты кидай полено-то, отец, кидай.— Храпун поднялся и подошел к двери.

Когда он сидел, вытянув ноги, то не казался таким большим. Не глядя защелкнул он дверь на крючок и на пару громко лязгнувших задвижек.

— Значит, так, шутить не будем. Каждый подойдет и выложит гроши на стол. Начнем с тебя, начальник, столичный, видать, туз, вот давай бумажник первым и выверни.

— Да как вы... Да как ты смеешь! — встал и тут же осел на стул главковец.— Да я...

— У-тю-тю-тю-тю,— вытянул губы Храпун,— мы еще ерепениться? Ерепениться, начальничек, будешь у себя в кабинете. Повторяю, я шуток не люблю.

Он вытянул из-за голенища финку, сине блеснувшую лезвием в пламени печки. Старик незаметно потянулся за поленом, но тут же от туного пинка Храпуна полетел в угол, громко стукнувшись головой о стену.

Только печка беззаботно пощелкивала березовыми дровами да сороки хрипло вскрикивали за окном.

— Папаша, еще одно такое движение, и повезут вас отсюда внуки в оцинкованном ящике... Ну так что, столичный, или... или,— он сделал шаг в сторону главковца.— Не хотим сами? Жаль мне тебя, начальник.

И, запустив руку за лацкан пиджака главковца, он вытащил желтый кожаный бумажник.

— Подождите... Вы! Возьмите деньги, но ведь там паспорт...

— Хорошая ксива тонну стоит. Следующий!

...У каждого, наверное, есть на памяти такие случаи, которых стыдишься всю жизнь: не то сделал, ляпнул какую-нибудь чушь, не подумав, обидел кого-то незаслуженно, да мало ли что — одним словом, поступил не по своим силам, возможностям, не по совести.

— Следующий, — он снова отпил из бутылки.

...Здоровый амбал. Но ведь смогу, смогу уложить его, смогу. Только раз прямым — в эту заросшую рыжей щетиной челюсть, и сразу же — хук левой. А там уж все вместе... Но этот нож, финка, кнопарь...

— Попался бы ты мне под Курском, — главковец совал под язык таблетку.

— Под Курском, батя, мы никак не встретились бы... Так, ну, ждать будем? — он сделал три булькающих глотка, камнем упавших в его утробу, по углу губ текла темная струйка. — Сами знаете, лайнера сегодня не летают. Скинемся, и я вам ручкой сделаю.

Он шагнул от двери на середину избы.

— Старик, где премиальные держишь?

— Да какие, сынок, ты бы это... Давайте, чайку с душицей...

Храпун шагнул к лежанке старика, откинул одеяло, подушку, матрасик и достал тряпичный узелок, как будто заранее знал, где деньги хранились у старика.

Сейчас, думал я, моя очередь, сейчас моя. Неужели так и буду сидеть, сдамся, как кролик... Ведь недавно двоих таких уложил... Финка... Если бы кому-то первому схватить его, скажем, за ноги, опрокинуть... Или подняться на него с табуреткой, да всем... Но я как будто прирос к этой самой проклятой табуретке.

— Вот, возьмите, — женщина подошла к столу и положила несколько десятков. — Только оставьте нас. Уйдите, ведь тут ребенок, и я... я боюсь, а мне... — она положила руку на живот.

— Я уйду, уйду. А у тебя, пацан, как с баблями? — он наступил на рюкзак мальчика и отшвырнул его к две-

рям.— Что, шмакодявка, уставился, жалко дяде гостинчик отдать? У твоего пахана тринадцатая зарплата имеется, а мне кто ее начислит?

Почему же он меня?.. Да ведь он меня на конец откладывает, чувствует — просто так не дамся, решил вначале очистить всех остальных, а потом...

— А потом и тебя, земля. Сидеть!

Он перекинул финку в левую руку, а правой выхватил из-за пазухи пистолет.

— Спокуха, земля. Вот так, умнятина!

Я снова оглядел всех. Старик стонал и плакал, распластавшись на лежанке. Главковец, откинув бледное лицо, чмокал таблеткой и держал себя за запястье, видимо, отсчитывая пульс. Он приоткрыл глаза и начал делать мне какие-то знаки, призывая начать первым... Учительница, обняв отрока за плечи, окаменело глядела в замсрзшее окно. А отрок? Нет, это был уже не смиренный Варфоломей. Тяжело, из-под бровей глядел он на Храпуна. Весь он как-то поджался, руки вцепились в край скамейки.

Он так похож был на Севку, этот отрок.

Что же делать? Ведь один только раз — в эту челюсть, в колючую, с темной струйкой на подбородке, в этот воющий рот с нехорошими ощеренными зубами, в эту харю...

Я бросил к его ногам месячную зарплату, всю, так и не распечатанную из-под синей кассовой ленточки.

Только волчья шапка спасла меня, смягчив удар.

— Гордые стали все больно, а мы не гордые.— Храпун поднял пачку.— Ну вот, можете дяде ручкой сделать, объятий не надо. Привет семье и с Новым годом! Ха-ха-ха. Ты! — вдруг уставился он на учительницу.— Скидавай-ка свою каракульчу. Ничего, не замерзнешь, вои у земли курта одолжишь. Давай-давай, по-быстрому! Шубка твоя как раз моей подруге придется, не все же нам в робах ходить. В конце концов, граждане, и вы меня поймите,—

не могу же я без новогоднего подарка, а подруга — жуть на шмотье падкая.

Он подошел к учительнице.

— Ну-ну, без паники, спокуха, побережем здоровье наследника. — И он финкой, одним движением, смахнул с каракулевой шубки пуговицы...

...Я даже не сразу сообразил, как это произошло. Будто какой-то неведомой силой подбросило отрока, только мелькнула его заячья шапка, а ноги оказались где-то на уровне локтей Храпуна. Отрок вценился своими маленькими смуглыми руками в лапу, сжимавшую финку.

— Ах, шмакодявка, — Храпун ударил отрока пистолетом по спине, по затылку. — У-ух, сука.

Болтаясь из стороны в сторону на руке Храпуна, не в силах ее вывернуть, отрок что есть силы впился зубами в запястье бандита.

— Убью-ю-ю!

Прямым в челюсть и отработанным левым хуком я уложил его. Как и рассчитывал, пистолет оказался незаряженным, просверленным в стволе, учебный какой-то.

— Товарищи, можа, мы того... не слишком затянули его, а? Можа, товарищи, ослабить? — суетился старик Вова, издали поглядывая на Храпуна.

Тот, матерясь и скрипя зубами, извивался на полу у стены. Потом затих. Потом сказал:

— Попался, как ффраер. Земеля, дай закурить.

Главковец подошел и пожал мне руку.

— Помогите женщине, — кивнул я ему.

Он подхватил учительницу под руку, и они вышли на воздух.

— Вы того... недолго, — крикнул им вслед старик, — печенки, поди, подгорели... Вот ведь грех какой случился, поверите ли, не бывало у нас такого. Вы уж извиняйте меня, товарищи, за недоразумение... Вот погодите, новый

эпорт в Угримске выстроют, там и телефон, и эта... милиция вооруженная будет по штату. А мы сейчас, живо, чайку с душицей... Эх ты,— поглядел он на бандюгу,— вот и ты бы с нами за кумпанию. К утру самолет прилетит, стретил бы по-людски всенародный праздник. А теперь вот — лежи на полу, скыркай зубьями-то...

Я по-прежнему стоял посередине избы, потирая зашибленную руку, и все смотрел на отрока. Он, почему он, а не я решился первым, почему?

Мальчик задумчиво чертил какие-то узоры на серебрястом замерзшем стекле. В круглую проталину видно было, как сороки, не смирясь, все еще хищно взлетают над стариковской изгородью. Я подошел к отроку, положил ему руку на плечо:

— Больно тебе? Спина болит?

Он молча помотал головой, продолжая смотреть в окно, в заметно синеющее небо, в затихающий снегопад.

ТЫ ПОМНИШЬ, МАЛЬЧИК?

— Ты помнишь, Мальчик, сегодня мы идем за посылкой?

— А когда пойдем, сейчас? Лен, мне только по истории осталось...

— А хоть сейчас. Одевайся, Мальчик!

У них такая игра была: если она называла его Мальчиком, он звал ее не мамой, а Леной, так же как звал ее дядя Костя, мамин друг. Впрочем, и Мальчиком он же его прозвал. Дядя Костя был старше мамы, и волосы у него, если приглядеться, были седыми. Но он улыбался хорошо. Он возился с Мальчиком на диване и на ковре, он выстругал ему деревянный меч, а из картона они вместе смастерили богатырский шлем. Он был молодой, старый этот дядя Костя, мамин друг.

Но давно уж это было — и диван, и меч, и шлем. Тогда дядя Костя приходил к ним часто, иногда ночевал, но надолго никогда не оставался. Отца Мальчик не помнил, и ему хотелось, чтоб Костя стал ему отцом, он звал бы его папой или просто Костей.

Но дядя Костя завербовался в торговый флот и ушел на полгода в плаванье.

И в доме их стало тихо и скучно, и никто не приходил, никого не ждали. Хотя нет, неправда, — ждали! Писем Костиных ждали. Письма от дяди Кости не в ящик опускали, а приносили прямо в квартиру.

— Вам заказное, — звонко говорил почтальон, стоя в дверях, — распишитесь. — Протягивал желтый бланк и вручал конверт, оклеенный многими марками, большими и яркими, как бабочки.

Расписывалась Лена. Но однажды, когда она еще не пришла с работы, расписался сам Мальчик. А что — он уже умел писать, ведь он ходил в первый класс, он изучил все буквы, а также многие числа.

Вечером они включали настенную лампу, забирались с ногами на диван, и Лена читала вслух дядино письмо. Он не часто их писал, зато длинно, подробно и смешливо: какие страны посетили, что видели, о том, как однажды заблудились в незнакомом городе, как механик обучил попугая разным словам, а тот хорошие говорил всем, а ругательные — только механику, своему учителю. Еще о том, как однажды матросы отравились какими-то дикими фруктами и доктор держал полкоманды на одной воде и сухарях целых три дня. Про разное писал дядя Костя. А в конце сообщал, что соскучился о них, Лене и Мальчике, и хочет поскорее увидеть их. И еще он что-то такое писал, отдельно для Лены, это она пропускала. Мальчик чувствовал, но с расспросами не пристававал. Ему даже приятно было, что Костя что-то там хорошее его маме пишет.

А вот вчера вечером пришло извещение, не письмо, а

извещение на посылку. Почта была уже закрыта, и решили они с Леной получить посылку завтра.

Целый день сидел Мальчик на уроках и думал: что же такое прислал им дядя Костя? Может, конфет американских или фруктов каких, может, чучело крокодила или маленький парусник...

Посылка была небольшая, но тяжеленькая. Она была не такая, как наши посылки, не в тряпичном мешочке и не в фанерном ящике, а в белой с голубой полосой пластмассовой коробке. А буквы сверху — нерусские, а печати, как и наши, — круглые, сургучные, красно-коричневые.

Что может быть интереснее распаковыванья только что полученной посылки! Посылка — это событие! В нем есть ожидание чего-то хорошего, нового, но пока еще вам неизвестного, в нем — благодарность к пославшему... В посылке вы улавливаете горьковатый запах угольного паровозного дымка, вы осматриваете и ощупываете строгие, непререкаемые сургучные печати, которые можно скосырнуть только вам, адресату, никому другому. В посылке есть тайна.

Когда мы с мамой получали посылку, мы всегда открывали ее вместе. Если кто-то из нас получал ее раньше и приносил домой, обязательно дожидался другого. Посылка стояла на кухонном столе, обвязанная шнурком, забитая гвоздями, надписанная химическим карандашом. Даже если она приходила от маминой сестры Клавы и мы заранее знали, что архангельцы посылают нам традиционную клюкву и связку белых сушеных грибов, мы ждали еще чего-то непривычного, новенького. И — находили. То книжку по архитектуре русского Севера, то любительские фотографии семьи Дехтеревых возле своего домика. Да просто газету «Северная правда», укрывавшую сверху ягоды, и то было интересно, ведь она повес-

твовала о какой-то другой жизни близких нам далеких людей.

Однажды я отправлял посылку с Кавказских Минеральных Вод. Чтобы облегчить чемодан с гостинцами, на обратном пути решил отослать почтой лишний груз — белье, тапочки, пару летних ботинок, ну и другое барахло: пусть идет посылкой на мой уральский адрес, на мое имя. Но перед тем как запаковать ящик, задумался: скучная же будет посылка. Даже самому себе скучная, а жене, сыну... Сбегаю-ка на базар, накуплю разных разностей. И затолкал в посылку четыре спелых граната, маленький стеклянный бочонок с желто-зеленым медом, самодельный кавказский ножичек с разукрашенной ручкой и ножнами. Тайна посылки продолжалась.

...Мальчик старался слушать учительницу, выводил по линейкам круглые ровные буквы, неплохие буквы получались. Но думал он о другом. Как там моя курточка, думал он, висит, бедная, одна, плохо ей без меня, одиноко. Но ничего, с ней ведь якорь еще, золотой якорек металлический. Скоро закончатся уроки, и снова мы вместе.

Он думал о ней как о живой, о своей синей японской курточке, которую прислал ему в посылке дядя Костя, мамин друг.

Утром его окружили перед школой ребята, и двоим он даже дал померить курточку, Ильке дал Говорухину и Володьке дал.

— Отец прислал? — спросил Володька.

— Угу, — кивнул Мальчик.

Он бы и остальным дал померить, да уж некогда было, звонок прозвенел, и потому остальные только потрогали якорь на рукаве. В раздевалке он повесил курточку в угол, чтоб не сбросил ее кто-нибудь в суматохе на пол, вешалку бы не оборвал.

...Еще в посылке была тонкая желтая ночная рубашка для Лены. На рубашке вышита черная роза. Наверное, такие рубашки носят японские женщины. А еще в

коробке лежали три консервные банки с какими-то неизвестными фруктами. И Лена решила списать названия, чтобы ее подруга в отделе перевела английские слова.

На самом дне лежала открытка, на открытке — какой-то город с высокими белыми домами, порт и корабли на причале. Корабли все в пестрых флажках, видно, какой-то морской праздник происходил в городе.

Лена тут же ушла в другую комнату, и в полуоткрытую дверь видно было, как она надевала рубашку и поворачивалась перед зеркалом. Потом она вернулась.

— Ну как? У меня таких еще не было.

Мальчик смотрел на черную розу и на короткую желтую рубашку, из-под которой выглядывали Ленины ноги, длинные, как у девчонки.

— Тебе нравится, Мальчик?

— Ничего, вообще.

Ему как-то неловко стало глядеть на нее в этой рубашке с черной розой.

— Ты чего, не нравится, что ли?

— Говорю, нормально.

И он снова стал рассматривать открытку.

— Да ну тебя, Мальчик.

И она быстро накинула халат.

— Вот как одеваются люди, а я что... И у нас девчонки одеваются. Откуда что берут, зарплата в два раза меньше моей, а джинсы штатовские, дипломаты, сапожки...

— Может, мы много проедаем?

— Скажешь тоже!

Потом они открыли одну консервную банку маленьким ключиком, который был прикреплен тут же, и пили чай с вареньем из японских фруктов.

— Лен, а почему дядя Костя на открытке ничего не написал?

— Я вот тоже думаю, — вздохнула Лена.

Якорь был не то чтобы весь золотистый, а темный, бронзовый, как бы овеванный морскими ветрами, омытый

черной штормовой волной Торресова пролива. И только в нескольких местах он горел золотыми солнечными бликами. К курточке прилагалась коробка, а в ней — паста для чистки пуговиц и якоря, щеточка и такая специальная пластинка с вырезом, которую полагалось надевать на пуговицу, чтобы при чистке не запаковать пастой саму курточку. Лена сказала, у пасты миндальный запах.

...Мальчик заранее сложил книги в портфель. И как только прозвенел звонок, все вскочили из-за парт, а он первым понесся по коридору и дальше, вниз, прыгая через две, а то и три ступени. Волосы прыгали у него на голове. Он вбежал в раздевалку. Бросил портфель на пол. Синяя японская курточка с золотым якорем была распластана бритвой. Одна полоска даже свесилась вниз, и зияла внутри бледно-розовая вата.

...Лене было страшно оттого, что Мальчик не плачет, лучше бы уж он не молчал, а плакал. Они снова пили чай, смотрели телевизор.

— Мы напишем с тобой, и дядя Костя привезет тебе новую куртку. Договорились?

По экрану метались баскетболисты. Один, негр, почти не прыгал, он и так доставал до кольца и забрасывал один мяч за другим. Наши все же выигрывали.

...Мальчик видел их, тех. Они стояли за кустами пыльной апрельской акации, когда он выходил из школы, он видел. Один, по прозвищу Курица, был из их класса. Его как раз не было на последнем уроке. Другие двое — его дружки из пятого. Они курили.

Мальчик не стал надевать куртку, он свернул ее и вес под мышкой.

— Эй, пацан, дай куртку примерить, — крикнул один.

— Может, загонишь за полцены? — крикнул другой.

А Курица заклохтал мелким смешком.

Хоть бы заплакать. Ему бы легче было. И маме тоже.

Но был ли виноват Курица? Да и те двое — тоже? Они-то наверное, но Курица?.. В нем было что-то жалкое — хохолок белобрысый на макушке, клювик длинного поса. И все его шпыняли в классе, может, оттого он и прибил к тем, постарше.

Еще на работе Лена почувствовала: что-то неладное сегодня случится. С утра у нее пошли неудачи: до двенадцати пришлось перечерчивать вчерашний чертеж — в расчетах напортачила, потом начальница отчитала за пятиминутную задержку после перерыва. Да и курточка из головы не выходила. Хотелось рассказать подруге — и о куртке, и о рубашке, и о пустой Костиной открытке. Не стала рассказывать...

Дома, еще в прихожей, стягивая туфли, она почувствовала какое-то напряжение. Быстро прошла во вторую комнату. Мальчик сидел на диване, листал книгу. Фу, отлегло от сердца. Да и что, собственно, могло случиться?

— Ты что молчишь, зачитался, не встречаешь меня?

— Читаю.

— Что это? Из библиотеки?

— Из библиотеки.

— Уроки выучил?

— Угу.

— А что у тебя с пальцем?

— Да так.

Указательный палец у него был обмотан синей изолентой.

Она быстро прошла в ванную и заглянула в шкафчик, где лежали мыльницы и зубные щетки. Там же был станочек для бритья, который когда-то принес Костя. Вспомнила, как тогда тихо порадовалась, это была его

первая личная вещь в их доме. Лена отвернула ручку, сняла верхнюю пластинку. Лезвия в станочке не было.

— Слушай, что-то случилось? Ну-ка, выкладывай! Посмотри на меня.

Мальчик поднял на нее глаза.

— Тебя классная вызывает.

— Это, да? — Лена держала в руках детали безопасной бритвы.

— Я порезал пиджак Курице.

Но был ли Курица виноват?

— Что же ты наделал, Антон. — Она закрыла лицо руками. — Ведь они бьются вдвоем с матерью, она у него уборщица, болеет все время. Она пальтишко Курице из милицейской шинели выкроила. Да не в этом даже дело, ты оказался таким же, как те.

Курица, согнувшись, сидел впереди, и серый школьный пиджачок обтягивал его спину. Когда Мальчик полоснул по нему бритвой, никто вначале и не заметил. Курица не вскрикнул даже, только пискнул тихонько. Под пиджаком, в порезе, Мальчик увидел не подкладку, и не рубаху, и не майку, а бледное тело Курицы и позвонки.

...Тогда Мальчик вовремя смылся после уроков. И пятиклассники избili его друзей Ильку Говорухина и Володьку. Завтра Илькин брат пообещал «начистить будки» пятиклассникам.

В пальце токало от пореза. Левая его рука была зажата в кулак, и в ладонь больно впивался золотой якорек.

— Что же мы напишем дяде Косте, Антон?

По экрану из одного края в другой носились баскетболистки. Казалось, ноги у них были длиннее туловища раза в два. Мелькавшие над головами белые ладошки негритянок ловко перехватывали в воздухе мяч. Наши опять выигрывали.

— Мама, давай напишем про якорь. Он такой красивый. А про куртку не надо. Ладно?

ПРОЩАНИЕ С БОНИФАЦИЕМ

Из дневника Женьки Баночкина. «...Вот уж кто действительно свой человек, так это литераторша. Сумка для конспектов у нее — адидасовская, из сумки торчит ракетка теннисная. Говорит она, правда, как-то забавно, рот открывает широко, как будто петь собирается, — боится испортить помадный рисунок на губах. Потеха: некоторые девчонки тоже начали так округлять рот... И чего я веду дневник? Только время зря трачу. Кому это интересно, разве что самому на старости лет».

И правда, к Елене Дмитриевне класс быстро привык. Не то чтобы уж восьмой «А» бросился с пылом изучать литературу, расхватывать в школьной библиотеке книги, зубрить пышные оды Гаврилы Романовича Державина. Просто на уроках ее было вольно. Можно успеть содрать задание по алгебре у Нельки Насоновой, можно засесть на заднюю парту и сыграть в «балду», а можно просто глазеть в окошко на плавное кружение николаевских голубей над старой покосившейся голубятней. Иногда и Елену Дмитриевну было хорошо послушать.

Особенно правилась Елена Дмитриевна девчонкам. После уроков она помогала им выкраивать платья, кофты, юбки и прочую девчоночью дребедень. Они о чем-то шептались и, хихикая, поглядывали на самого длинного в классе Кольку Мартынова.

Двоек Елена Дмитриевна почти не ставила.

И вдруг сюрприз: сразу же после зимних каникул Елена Дмитриевна исчезла. Рассказывали, что она вышла замуж за морского офицера и, даже не уволившись с работы, махнула с ним на Камчатку...

— Тихо, дети, — сказала директор школы Вера Матвеевна. — Тихо! Дети, завтра к вам придет новый

учитель. Это очень знающий специалист, и мы довольны, что он дал согласие работать в нашей школе. Он пишет диссертацию. Будьте внимательны на его уроках, ведите себя как взрослые. Есть ко мне вопросы?

— Скажите, а Елена Дмитриевна еще вернется к нам? — подняла руку Нелька Насонова.

— Нет, Елена Дмитриевна едва ли вернется, опа... В общем, у вас будет другой учитель.

— А мы хотим Елену Дмитриевну, — выкрикнула Чиканцева.

Вера Матвеевна, изображая недоумение, подняла до ушей ватные плечи бархатного жакета.

— Можно еще вопрос? — встал над партой Мартынов. — Верно ли говорят, что готовится закон, по которому можно будет жениться с 16 лет?

Класс грохнул, даже Мишка, вечно спящий на задней парте, очухался.

— Мартынов, — заколыхалась Вера Матвеевна. — Прости, но ты мне напоминаешь Митрофана Простакова.

— Кого? — вытянулась Колькина физиономия.

— Вот-вот, я и говорю... Да, зовут вашего нового учителя Борис Васильевич. Завтра с утра он проведет у вас первый урок. Не опаздывать.

И Вера Матвеевна бережно понесла свое большое тело к двери.

— Борис Васильевич... — повторил Женька. — Боровас... Боровасий!

— Бонифаций! — подмигнула, взвизгнув, Нелька. — Как встретим Бонифация?

— С оркестром! — рявкнул класс хором.

Минул месяц, как Борис Васильевич вел литературу в новой для него школе. Он бы по-прежнему преподавал в университете, но научная работа по педагогике приве-

ла его к мысли уйти с кафедры, вновь окунуться в среду восьмиклассников, изнутри проверить новые гипотезы воспитания подростков...

Восьмой «А» изучению не поддавался. Какое уж там изучение, анализ, закономерности, если с первого дня класс встретил его бумажно-гребеночным оркестром и не унимался пол-урока. В других классах спокойней, а тут... И ведь каждый раз то одно, то другое. Особенно неприятно, свистяще, мерзко звучал за его спиной — как только он поворачивался к доске или склонялся над книгой — этот зудящий шепоток, что-то такое: вацій... аций... фаций...

— Сегодня я хочу рассказать вам кое-что новое о романе «Евгений Онегин»... Баночкин, вы почему не слушаете? Не надо больше гребешков, не надо...

И началось:

— А мы ведь уже прошли «Онегина»!

— Сколько можно!

— И сочинение писали...

— Но ведь сочинение — вы об этом знаете — у большинства не получилось, семьдесят процентов неудов, всего две четверки. И потом, запомните, я не хочу, чтоб вы что-то «проходили», я хочу, чтоб вы помнили это, знали, больше — могли других научить понимать...

— Мы и так знаем...

— Что ли, мы на писателей учимся?

Учитель вздохнул, пригладил свои усы и пышные волосы на висках и на затылке. Небольшого роста, узкоплечий, с рыжеватыми усами на бледном лице, он и вправду оказался похожим на мультипликационного льва Бонифация.

— ...Фаци... апи-маци, фаци... Бо-ни-фаци... — снова поползло по классу, пока учитель доставал из портфеля какие-то толстенные тома.

— Я хочу рассказать вам о тех таинственных зашиф-

рованных местах в романе, в которых, как полагают ученые, Пушкин хотел сказать то, чего он не мог произнести открыто.

— А кто ему мешал?

— Многие мешали, царь мешал, Бенкендорф, помещики... Издатели, прислуживавшие царскому двору... Вот посмотрите, я принес вам книги...

Учитель бережно раскрыл тяжелый том.

— ...Фаци... аци... вац...

— И не надоело вам? Мне говорили, что у прежней учительницы вы неплохо учились. Скажите, чем я вас не устраиваю, чем?

Все молчали.

— А вы знаете, что это за книги? Их держали в руках соученики Пушкина, а может статься, и сам Александр Сергеевич... Раньше они входили в состав библиотеки Александровского лицея, в котором учился поэт. В начале войны часть книг была вывезена на Урал да так и осела в фондах нашего университета. Подойдите, пожалуйста, посмотрите.

И все подошли к учительскому столу и стали разглядывать удивительно нарядно, изысканно украшенные кожаные переплеты с рельефными словами, оканчивающимися твердым знаком.

— А можно потрогать? — спросил Мишка, вытирая о штаны руки.

— Аще не осяжу, не иму веры? — засмеялся учитель. — Ну что же, полистайте. Ведь книга для того и создана, чтобы ей пользовались. Говорят, если книги не читаются, не перелистываются, не дышат, — они погибают. Как люди... Только осторожней.

И Колька Мартынов, и Женька Баночкин, и Мишка, даже Нелька Насонова, которая переписывалась с Елевой Дмитриевной и терпеть не могла Бопифация, даже Нелька Насопова — все подержали и полистали книги с негнуущимися кремовыми листами.

А потом учитель рассказал о тех тайнственных строках, в которых поэт упрятал свои вольнолюбивые мысли, но так упрятал, что те, кто хотел, могли их прочесть, а вот цензура царская... Ничего не скажешь, интересно учитель рассказывал и примеры доказательные приводил...

— Это он нас купить хочет своими баснями и старинными книжками,— сказала на перемене рыжая Чиканцева.

— Подумаешь, у моей бабки целый сундук таких книг,— сказал Мишка, зевая и потягиваясь.

А Колька Мартынов несколькими штрихами изобразил на доске мелом смешную лохматую физиономию с усами. Похоже получилось.

— Бонифацию — бой! — вскинула красные кулачки Нелька.

Никто не ожидал, что узкоплечий Бонифаций пережмет руку даже Кольке Мартынову, лыжнику и футболисту. Причем Кольке было разрешено помогать себе и левой рукой. Через пять секунд обе Колькины руки были прижаты к столу сухонькой жилистой рукой Бонифация.

Вероятно, теперь они будут вести себя по-другому, думал учитель, диктуя план лекции, да, не урока, а лекции, ему хотелось приучить их, восьмиклассников, к самостоятельной работе, пусть будут как студенты, теперь «зауважают»... Удивительно как только ему удалось уложить Мартынова, если бы сказали об этом вчера, что вот он уложит второразрядника,— никто бы, и даже он сам, не поверил бы... теперь «зауважают». В конце концов, чтобы дать импульс, вспомнил он строчки из пособия по педагогике, чтобы вызвать интерес, деловую мотивацию обучения, подходит все: интересный рассказ, анекдот, яркий галстук. Главное — увлечь! А там уж вести и не отпускать...

— Попробуйте сегодня не просто слушать урок, а самостоятельно записывать за мной. Я хочу, чтобы вы приучились вести конспект...

Нет, не удалось и сегодня, хотя некоторые... Писали лишь на первых партах, остальные только делали вид. Мишка, как обычно, спал, Баночкин резался в «балду»... Кончилось с этим дурацким «Фацием-Бонифацием», так новое дело — время от времени какой-то общий гул стоит над классом. Причем рта никто не раскрывает, просто — глухое мычание. Кто-то начинает выть первым, за ним — остальные. Вот и Насонова, симпатичная девушка, а тоже — только щурит улыбочиво подкрашенные глазки и — мычит, не скрывая, громче всех. Может, завывать вместе со всеми?

К концу апреля вдруг повалил снег. Да такой крупный, пушистый, казалось, что в город по-настоящему вернулась зима. Но молодое, настырное солнце ни за что не сдавалось, и в два дня улицы снова очистились от снега. В синем небе отчаянно кувыркался белый турман, радуясь теплу и свету и увлекая за собой по большому кругу сразу две стаи. Хотелось вот так же кувыркаться, лететь, бежать, танцевать, хапать на ходу чистейший вербный воздух...

— Ну что ж, дорогой мой восьмой «А», скоро конец учебного года, не хочется небось за уроками сидеть?.. Ничего... Сегодня я дам вам несколько тем для сочинений, будете готовиться дома, а на следующей неделе... Да, каждый волен выбрать тему по душе, но — придется посидеть в публичной библиотеке... Гудеть не падо, не падо мычать. Чиканцева!

— А я и не мычу, что я, корова, что ли?

Гул усиливался.

— Встаньте, — поднялся учитель. — Встаньте-встаньте. Все!

Задвигались парты. Попадали тетради. Класс стоял на ногах.

— Вот так. Чиканцева, Баночкин, Насонова — за дверь... Хотя нет, вот сюда, за стол, прошу... А теперь побеседуем о темах предстоящего сочинения.

И хотя от долгого стояния — целых сорок минут — ноги у многих онемели и затекли, слушали.

— На следующем уроке поговорим об организации классного музея, — сказал Бонифаций и прикрыл за собой дверь.

— Это еще что за штука?

— Сочинения восьмого «А» — уникальные экспонаты истории?

— Усы Бонифация под стеклом!

— За вход — бутерброд!

Из дневника Женьки Баночкина. «...Он придумал организовать классный музей и для начала приволок серию пушкинских значков и марок, какую-то растрепанную книженцию, написанную с ятями, и галошу будто бы Мамина-Сибиряка. Он выдал мне амбарную тетрадь и приказал все занести в нее под номерами. Будешь администратором и хранителем фондов, сказал он мне. Во даст Бонифаций! Почему — меня? А что, многие клюнули на затею. Сегодня не гудели. Да и сник что-то наш Боня, усы обвисли, плечи совсем узкими стали, в горле сопит, какие-то розовые таблетки глотает. Чика говорит, у него астма. Идея: исполнить на вечере аргентинское танго «Бронхиальная астма нежно с морем прощалась»...

Мишка на уроках больше не спал. Его пазначили президентом музея. Мишка набросал на ватмане примерную экспозицию музея: что на какой стене развесить. Рядом с доской решили, конечно, поместить пушкинские материалы, которые принес Борис Васильевич, портрет Александра Сергеевича, нарисованный классным художником Вов-

кой Блиновым, акварели первоклассников на темы пушкинских сказок, а справа от доски — лучшие школьные сочинения. Неплохо получилось, правда, сочинений оказалось только два.

Между окон, в простенках, развесили портреты Лермонтова, Толстого и Маяковского и их изречения. Заднюю же стенку решили посвятить уральскому писателю Мамину-Сибиряку, хоть его и не изучали по школьной программе. Материалов пока было не густо: книжка «Приваловские миллионы», изданная в Свердловске до войны, увеличенные портреты Мамина-Сибиряка и Алевушки и в большой стеклянной банке из-под венгерских помидоров — галоша писателя.

— Ну что же, — сказала директор школы на открытии музея, — для начала неплохо. Только вот эта галоша... Да, Борис Васильевич, фактологизирована ли сия обувь, действительно ли она принадлежала классику? По-моему, ее следует изъять из экспозиции. Ожидается комиссия из облоно, и как-то...

Нам было жалко изымать нефактологизированную галошу. И Борис Васильевич мялся, только таблетки заглатывал.

— Видите ли, Вера Матвеевна, — вдруг решил он, — нам удалось установить, что эта галоша принадлежала Наркису Матвеевичу Мамину, отцу писателя, а маленький Митя надевал ее, когда его наряжали Дедом Морозом во время рождественской елки. — Бонифаций разгладил усы и хитро подмигнул ребятам.

— Да? — подняла ватные плечи Вера Матвеевна. — Ну что же, в таком случае...

Из дневника Баночкина. «...Все же молодец наш Бони, отстоял экспонат. Какой же музей без предметов, да и галошина старинная, с клеймом ермолаевской фабрики. Она у меня в амбарной книге под номером три.

Правда, после того как директриса ушла, Бони сказал: «Ну, ребята, придется летом поработать, поедем в Висим, на родину Мамина, соберем разные бытовые предметы прошлого века, может, и галону настоящую отыщем». А еще он рассказал, что обнаружил недавно в старой екатеринбургской газете два стихотворения Аленушкиной матери, обещал переписать. Я уж их в книгу внес. Оказывается, и сама Аленушка стишки строчила...

За весеннее сочинение на вольную тему — опять почти одни тройки, несколько двоек. Нелька Насонова неожиданно отхватила пятак, хотя и допустила три ошибки».

Все лето Бонифаций провалялся в больнице. Шумели за окном сосны, заливались пичуги, пахло медом. Молоденькая рыжеволосая сестра, похожая на Чиканцеву из восьмого «А», пришла ставить очередной укол.

В девятом классе началась какая-то чехарда с учителями. Чертежница сломала ногу, Борис Васильевич взял на две четверти творческий отпуск, а математичка, запутавшаяся в новой программе с функциями, переменными и уравнениями Симпсона, махнула на все рукой и перешла в физкультурницы.

Из дневника Баночкина. «...Скучно стало на уроках. Музей заглох. Бонифаций на нас, видимо, разозлился, не появляется, ему свой труд научный скоро сдавать на защиту. Да и мы ему нужны были как подошвные кролики. Трудновоспитуемые! Нелька получила от Елены Дмитриевны письмо, та после Нового года возвращается, пишет, что мечтает вновь работать с нами. Интересно, как они поделят нас с Бони».

Борис Васильевич появился в первый же день после зимних каникул.

— Ну вот, друзья, мы встретились с вами снова. Надеюсь, вы повзрослели, и теперь... Теперь я буду задавать вам побольше.

— А разве вы имеете право задавать сверх программы?

— Если вы хотите хотя бы приоткрыть дверь в мир Достоевского и Толстого — тут школьной библиотекой не обойтись, ну а если... В конце концов и музей наш был сверх, я никого насильно не заставлял им заниматься, прошу на днях собрать совет музея... Так, запишем план лекции...

— Бони-бони-фацы... Фацы-Бонифацы!..

— О, да вы совсем не меняетесь.

— Из дневника Баночкина. «...Сегодня Бони вызвал нас с Мишкой к доске и предложил составить план сочинения, один план — вдвоем. Опять на нас какую-то свою методу проверяет. Пишем мы на доске, вдруг, вижу, Мишка достал из кармана листок какой-то, вижу — картинка: лев на проволоке, а к листку булавка пришпилена. Мишка кивает мне — давай, дескать, приколем Бонифацию. А сам дрейфит. Чиканцева нарочно руку тянет, отвлекает. Взял я картинку и спокойно поместил на спину Бони, булавка в свитер легко вошла, не слышно. А чего бояться! Бони стойкий, сколько мы его ни доводили, ни разу директрисе не пожаловался. А вообще-то, может, мы переборщили? Чего-то мне не очень... Наверное, эти самые угрызения совести? Плевать! И с дневником — все, еще пара страниц осталась, закончу и затолкаю дневничок под шкаф: вскрыть через пятьсот лет...»

Борис Васильевич выходил из класса. Девятый «А» хватался за животики: на спине учителя болтался листок со львом Бонифацем.

Елене Дмитриевне легко и приятно было войти в свой любимый класс. Она совсем почти не изменилась, только две тоненьких темных складки обозначились возле ее крашенных губ, которые она по-прежнему раскрывала широко и певуче.

Она рассказывала о Великом океане, о том, как она ела ложками икру, собирала морских звезд и коньков, какие бывали страшные штормы, от которых содрогались даже кирпичные дома, о том, как неуютно порой жене морского офицера, поэтому она и решила... Дальше она, доверительно похихикивая, шепталась только с девочками. Вместе с классом посмеялась Елена Дмитриевна и над Бопифацием, над его опытами и над усами. Но когда ребята показали ей «галошу Мамина-Сибиряка» и лучшие прошлогодние сочинения, она перестала смеяться и стала задумчиво глядеть куда-то за окно, видимо, вспоминая лимонные закаты над Великим океаном и своего мужа, морского офицера, который несет боевую вахту, а к весне непременно приедет и снова заберет ее с собой...

Как и раньше, на уроках Елены Дмитриевны было по-свойски, по-домашнему. Можно было, не очень заметно, перекинуться записками, сразиться на задней парте в шахматишки, пошептаться, займет ли снова первое место «Днепр», или вырвется наконец-то вперед «Спартак», а можно было просто глядеть в окно на плавное кружение сизарей над старой покосившейся голубятней.

Достоевского прошли точно по программе. Раскольников никому не понравился.

Из дневника Баночкина. «...У меня скопилось уже больше сотни выписок из старых газет и журналов об уральских писателях, артистах, художниках; с фотографиями труднее, приходится перерисовывать, получается не совсем похоже... К 2000 году задумал выпустить книгу «Деятели культуры и искусства нашего города». Но до

этого еще больше тридцати лет, а тут — десятый, выпускной, не до коллекции, не до дневника...»

...Выпускной бал, утихая, шел к завершению. Многие классы уже отправились по традиции на главную площадь, в Исторический сквер, к пруду. Десятый «А» решил в последний раз посидеть за своими партами. Сели, помолчали.

— Ура! — Колька Мартынов вытащил из парты две бутылки сладкого домашнего кваса. — Это от нашего мужского состава — девчонкам, чтоб не забывали и писали нам через год на полевую почту!

Потом — в который уж раз — вспоминали, какими они были наивными первоклашками, как выводили в прописях первые закорючки, как ездили на картошку, как обыграли однажды в футбол сборную учителей. Не забыли и свою первую учительницу Лидию Васильевну, встали, молча помянули старушку. Оказалось, только двенадцать человек проучились вместе, начиная с первого «А».

— Ой, а знаете, кого еще сегодня не вспомнили! — вскочила, взмахнув гривой золотых волос, Чиканцева. — Бони!

— Точно! Фади-вади-мади, Фади Бонифаций! — стуча по парте кулаками, проскандировали выпускники.

— Говорят, он опять с восьмиклассниками возится.

— А кличка наша — за ним навечно!

— Фади-вади-мади...

— А знаете, — встала Рита Чиканцева, — может быть... Во всяком случае, только после Бони я... Да вот и Нелька... Нелличка, можно сказать, куда ты, к примеру, поступаешь?

— Известное дело, — сказал Вовка, делая набросок с Чиканцевой, — Насонова — на физмат, Нелька наша — прирожденный кибер.

— А вот и не угадал!

— Куда же?

— В университет, на филологический.

Одним прыжком Колька Мартынов оказался у доски и ловко, несколькими штрихами, изобразил Бонифация. Похоже у него вышло, смешно. Только почему-то никто не смеялся. А Женька Баночкин встал из-за парты, медленно подошел к доске, взял тряпку и стал стирать Бонифация. Тряпка была сухая, мел из нее так и сыпался на Женькины кроссовки.

Все молчали.

В ПОСЛЕДНЮЮ ЗИМУ

«Здравствуй, сосед дядя Ваня!

Как ты, дядя, воюешь? Во первых строках моего письма передаю тебе поклон от моей мамы и от соседки Марфы Самойловны, твоей жены. Мы живем хорошо. Мама починяет полушубки, а по ночам ходит халтурить на мельницу. Тете Маше выписали дров. У нее, на конном, выбрасывают овсяную шелуху. Если шелуху вымачивать, то из гущи получается добрый овсяный кисель. Мы уже много шелухи скопили, четыре бадьи.

Высылаем тебе варежки из Манькиного пуха. Дядя Ваня, воюй храбро и с победой возвращайся на нашу улицу Стеньки Разина. А когда ты вернешься, научи меня править на полуторке...»

В конверт было вложено два рисунка. На одном листке Васька нарисовал Пушкина с няней. Няня вяжет Пушкину носки и говорит сказки. А Пушкин все записывает большим гусиным пером. Васька срисовал эту картинку с шоколадной обертки, которую нашел около дома эвакуированных москвичей.

На другом был нарисован красноармеец, бегущий на

лыжах. На солдате был маскхалат, каска, за спиной — винтовка. Лицо солдата розовое, смелое. Бежит он по сипелу снегу вдоль леса, на разведку бежит солдат.

Еще Васька хотел нарисовать четырех папанинцев, плывущих под красным флагом на льдине, но решил, что на это уйдет много времени, хотелось поскорее отправить письмо, а папанинцев можно и ко Дню Красной Армии...

Конечно, письмо ему помогали писать мама и тетя Маша. Но он и сам уже умел читать — в библиотеку его еще отец записал — и писать большими печатными буквами. Номер полевой почты, 4809, слюнявя химический карандаш, Вася вывел сам, и на почту сам сбегал.

Он рад был отослать письмо дяде Ване-соседу, ведь написать было больше некому. Он опустил письмо в холодный синий ящик, прибитый возле дверей почты, быстро вернулся домой, смахнул голиком снег с валенок, залез на кровать, поближе к печке, немного поиграл с котом Серегой. И стал ждать ответа.

Мать уже не только починала полушубки. Ей стали доверять и другую работу: распарывать пришедшие в негодность парашюты; шить для фронтовиков трехпалые рукавицы; кальсоны с длинными, как довоенная лапша, тесемками; большие нательные рубахи, которые чем-то пугали Ваську. Все казалось ему, что точно в такие белые рубахи одеваются, принимая последний бой, солдаты и матросы, как те, с крейсера «Варяг»...

Жалко, что Васька шить не умел. Но он тоже участвовал в этой работе: когда простроченных рукавиц скапливалась горка, Васька брал большое черное веретено и, напяливая на него каждую рукавицу, выворачивал ее на правую сторону — и большой напальник, и средний, и тот мешочек, в котором будут жить сразу три пальца. Особенно тщательно он расправлял швы на узком и длинном мешочке — ведь указательным пальцем придется красноармейцу жать на курок.

— Помогай, сынок, помогай. Гляди вон — Борька Шишенин уже на заводе, давно ли без штанов по улице бегал.

— Мам, а может вот эта рукавица дяде Вапе достаться? Я в нее записку положу...

— Ой, пришел, пришел!

— Ванюшка, родной ты мой!

— Радость-то какая!

— Здорово, Рябков! Ну, как? Ты третий в квартале, а я вот, видишь, левую разрабатываю. Сам-то цел?

— Ванечка, пойдем... Вещи-то твои где, все тут-ка?

Васька приник к окну и все смотрел, смотрел на соседа дядю Ваню, прибывшего с фронта. Радовалась тетя Маша, плакала, некрасиво сморщив лицо, целовала мужа, гладила его по спине, по белесой боевой гимнастерке, заглядывала в вещмешок, пыталась сама нести чемодан.

Кончалась большая война.

Андрей Зудкин протягивает Ивану Рябкову, доставшему было кiset, пачку папирос «Дели», Иван чиркает зажигалкой, оба, смеясь, затягиваются. А тетя Маша все суетится, теребит мужа, торопит домой.

Он оказался совсем другим, сосед дядя Ваня, чем представлялся Ваське. Думалось — он шире в плечах, грудь — в орденах, смелый и розовый лицом, как тот, на картинке. Сосед же был не розовым, а как бы бурым, будто серая пыль лежала на его впалых щеках. Небольшие глаза его прятались под бровями, и нос был совсем не орлиный. На груди соседа висела белая, оловянного цвета медалька да еще одна — золотистая.

И хоть не похож он был на того бойца, хотелось Ваське выскочить во двор, броситься навстречу дяде Ване. Но боялся чего-то Васька. Если бы мать была дома, вместе бы... Может, в форточку крикнуть чего-нибудь?.. Ведь он так дожидался возвращения дяди Вани-соседа. Хоть

бы тот взглянул вверх, увидел бы Ваську. И солдат, что-то сказав Андрею Зудкину, глубоко затаившись, выпускает дым через поздри, глянул в небо, указал на стаю голубей и вдруг посмотрел на окошко и увидел стриженного пацана, глядящего во двор через стекло. Складки на лице солдата расправились, брови взлетели, открыв лучистые голубые глаза, и он помахал Ваське рукой с дымящейся папироской, а Васька вытянулся и по-военному приложил ладонь к виску.

А потом гуляли соседи целых три дня. И Васькина мать была у соседей. И сам Васька, прошмыгнув в дверь, усаживался в углу на лавку, глядел на гулянку.

Тяжело, по-медвежьи топтался посередине комнаты Саша с Уралмаша. Легко шел в присядке долговязый Андрей Зудкин, хлопая здоровой рукой по начищенным офицерским сапожкам. Мать с тетей Машей заливались частушками. Дядя Ваня, прикрыв глаза лохматыми бровями, наяривал на хромке, то сходящейся в черный аккуратный ящичек, то широко распахивающейся ситцевыми мехами в голубых и алых розах.

Чаще всех дробит деревенская Нюра-маленькая.

— И-и-их,— визжит Нюра, распрямляя на плечах синюю косынку, а на лице ее ни улыбочки.

Я по берегу иду,
Берег осыпается,
Я беззубого люблю —
Лучше, не кусается...

Нюра подпрыгивает и чмокает в щеку огромного Сашу с Уралмаша, улыбающегося во весь рот стальными коронками:

— Какой же я беззубый, хошь, съем?

Александр Сергеевич Пушкин,
Жаль, что с нами не живешь,

Написал бы нам частушки,
Чтобы пела молодежь!..

И видится Ваське из своего темного угла дуб у лукоморья, на цепи от ходиков привязан кот их Серега, царь Кощей с гитлеровскими усиками и челкой над златом чахнет... На ветвях возлежит красавица Маруська-пожарница в брезентовом бушлате, из-под бушлата — хвост рыбий торчит. Под самым же дубом, похожим на старый разинский тополь, сидит себе спокойненько Александр Сергеевич, одной рукой наяривает на хромке, другой — записывает гусиным пером частушки, придумывает.

Редко вставляет в гуляночный гам свой голос дядя Ваня, зато уж как запоет! Только медали в такт дрожат, позванивают... И резко обрывает голос. Слушает, глядя куда-то в даль неоглядную, будто все еще там он, на войне.

...Когда он доставал спичку, рука его мелко дрожала. Резко чиркнул по коробку — загорелось ярко. Дядя Ваня, чуть помедлив, уже твердой рукой поднес огонь к папироске. И осветил огонь резкие складки у рта, и белый рубец шрама на лбу, и зорко смотрящие небольшие глаза — будто красным ракетным огнем осветилось лицо Ивана Алексеевича... Наверно, никогда не забудет он насовсем, что довелось ему видеть.

Машину бросало по колдобинам из стороны в сторону. Как ни крутил, как ни выворачивал Рябков баранку, то в рытвину нырнет колесо, то на бревне, вмерзшем в грязь, скат подбросит. Не о себе Иван думал — кузов за спиной стонал, полный фургон раненых. Терпели, знали — для них же шофер торопится. Но когда отъехали от передка, нашлись из тех, что полегче, забарзили по кабине:

— Ты что — дрова везешь?

Молчал Рябков, зубы только сжимал, не отвечал пси-

хам. Медленней ехать не мог, многие истекали кровью, а впереди, до медсанбата, сколько еще... Но вот дорога стала поровнее, вдоль леса машина бежала. Знакомый Рябкову путь, третий рейс за сегодня, а вчера...

Тут увидел Рябков: впереди, слева, на снегу темнеет что-то... Руками кто-то машет, не то голосует, не то о помощи просит. Тормознул Рябков, выскочил из кабины: вон оно что...

Немец полз по снегу, волоча перебитые ноги.

— Erschieße mich! Töte! * — вцепился он намертво в голенище Ивана.

— Да отчепись ты, — дернулся Рябков, — я думал, свой, а тут... Сам пришел к нам, сам себя и шлиссай, стану я еще грех на душу брать.

Хотел уж было Рябков в кабину вскочить — оглянулся. Немец уже ни о чем не просил, но было в его глазах что-то такое, не людское даже, а вот... бывает, так собака глядит в глаза человека.

— Erschieße mich! Du bist Fahrer, und ich bin Fahrer, hilfe... **

И он снова, падая в снег и приподымаясь, то указывал пальцем на Ивана, то тыкал себя в грудь.

— Шофер, шофер, Fahrer.

— Сдохнешь ты в наших снегах, шофер.

Рябков достал из-за сиденья винтовку, рванул затвор, не целясь, нажал на спусковой крючок. Холодно лязгнул ударник по капсулю. Не вышло выстрела.

— Schieße! — завопил немец. — O, mein Gott! Nimm, das ist Feingold, nur... ***

* — Застрели меня! Убей! (нем.)

** — Застрели меня! Ты шофер, и я — шофер, помоги... (нем.)

*** — Стреляй! О, боже мой! Вот возьми, это чистое золото, только... (нем.)

Он полез за пазуху и вытащил непослушными пальцами золотой перстень с большим камнем, блеснувшим густым красно-винным цветом.

— Эй, чего стоим? Водитель, под расстрел захотел! — надрывались в кузове.

— Замучил ты меня, фриц, это — убери...

Рябков сунул винтовку в кабицу, подхватил раненого под мышки, поволок к заднему борту.

— Эй, там, раздвинься... Помогите, кто может... Тяжелый, зараза...

И машина опять шустро побежала по снежной дороге. Хорош «студебеккер», ходок, не то что полуторка, а все же жалко было свою-то, верно служила.

Ноябрьская зимка установилась сразу. Не было ни снежной мяши, ни больших холодов. Тянулся вдоль дороги лес, припорошенный снежком, и если немного прищуриться, притупить зрение, то можно принять эти дубравы и орешники за молодые уральские леса... Нет, все же сосенок не доставало... Как там теперь улица разинская?.. Марфа на Заготзерне сторожем, продержится. Андрей Зудкин, писали, дома уже по ранению, а его вот, Ивана, бог бережет...

И тут вспомнил шофер, что не успел толком письма прочитать, лежат письма в кармане, варежки Ксеньины скоро придут, а вот сынишку ее не припомнит Иван, славный, видать, пацан, только картинки его и разглядел. До медсанбата добраться, а там...

Гул — тот, противный, узнаваемый, пошел неожиданно спереди. Тут же заметил Рябков три фашистских самолета, идущих странно, со стороны наших. Низко идут, чуть не на бреющем. Зашли, видать, с фланга, разведчики... Что же наши-то?..

Раздумывать было некогда, и враз бросил Рябков машину под углом к дороге, радиатором вниз, благо рядом

разбомбленная кухня валялась. Коли не заметили сверху, может, и примут за разбитого. Не выскакивать только из кабинки, сидеть. Выскочишь — увидят, поймут.

Забарабанили вновь по кабине из кузова.

— Воздух, заткнитесь! — приоткрыл Рябков дверцу. — Затаись!

Увидел, как пошел один немец в пике. Дал короткую... Мимо! И все трое черными хищниками скрылись за лесом. Удаля маневр-то, подумал Рябков, окарался враг.

Он схватил заводную ручку, выпрыгнул на снег.

— Эй ты, шоферюга, — опять возник из кузова неумный голос, — ты кого нам подсунул? Сейчас его долбануть или после?

— На месте разберутся.

— Давай уж быстрее, браток.

— Терпи, ребята, считай, в медсанбате.

— Поехали!

Вывернул Рябков на колею, споро погнал машину. На повороте только и тормознул. По дороге, подумалось, вдоль леса — верст пять, через поле — поближе будет. Поле ровное, застыла земля. И рванул Рябков через поле..

И уж видел он избы, медсанбат, синий дымок над трубами и даже различил выбежавшую на крыльцо девушку в белом халате, выплескивающую воду из таза. Юлька, подумал, она...

Бросило кабину вверх, будто в небо. Не слышал Рябков ничего. Только крепче вцепился в баранку, жал на газ что есть силы.

И те, кто выскочил из санбата на взрыв, увидели мчащуюся через поле кабину, один передок да полрамы. Ни кузова, ни задних скатов. Противотанковая, видать, мина попала. Метров триста кабина до изб не добежала...

Вытащили шофера. Голова цела, руки тоже, а поги как плети, обмотки — в крови.

— Икру мне на левой ноге вырвало, — потирает Иван брючину, — спасибо доктору, спас ногу, если б не он...

И вновь раздвигает Рябков ситцевые меха гармони, выдает глухим горловым голосом:

Глухой, неведомой тайго-о-о-ю,
Сибирской дальней стороной
Бежал-да бродяга с Сахали-и-и-на...

Не любил Рябков о войне говорить, мало чего рассказывал. Однако в следующие вечера еще слушали истории из той долгой войны, откуда пришел он, сосед дядя Ваня, чудом выживший.

Артподготовку немец начал. Сильный был обстрел. Засели мы в траншее, прижались с учителем-земляком друг к дружке... Тут учителя командир отозвал... А немец все палит из орудий, и когда же, думаю, вражина, израсходует свои боеприпасы?

Только так-то подумал, тут меня и прихлопнуло, накрыло с головой.

Сколько пробыл под землей, не помню. Очнулся — как в могиле. Рукой-ногой не пошевелишь, на ребра давит, дышать не дает, в рот земля лезет. Ну, думаю, конец тебе, Рябков, отвоевался, завтра спишут как без вести пропавшего...

Сам, однако, начинаю пошевеливать пальцами, не пристало бойцу живому в могиле без дела находиться... Куда там, тяжела земляца. На грудь давит. И тут слышу: чирк-ширк, вроде сверху, поблизости, кто-то лопаткой скребется, копает. Точно! И голос учителя:

— Тут ведь он был, тут где-то!

Отозваться бы мне как-то, знак подать, мол, здесь я, здесь, не уходите!

Собрал сколько мог подземного того воздуха и выпустил его, простонал.

— Слышите? Он это — Рябков, говорил я вам! Зашумели враз три лопаты. Я отключился.

— Дядь Вань, расскажи еще, еще про войну, — трясет его Васька за колено, за ту самую погу, перебитую, без икры.

Иван Алексеевич не был ласков, скорее угрюм. Но, видать, по-своему любил он Ваську. И долго порой, дымя, поглядывал на него с какой-то застывшей скупой улыбкой на губах. Своих детей у соседей не было, и, может быть, он просто боялся привыкнуть к мальчишке, приручить его к себе. Во всяком случае, не было для Васьки большей радости, если он его после работы сажал в свою полуторку и разрешал рулем покрутить, сигнал подать или, положив свою сухую ладонь с синим якорьком на Васькин кулачок, помогал перевести скорость на ходу с первой на вторую...

— Еще расскажи, дядь Вань, еще, ты обещал, как из окружения вышли... смешное...

Сосед кладет руку на Васькин затылок, задумчиво гладит стриженую голову, и не было для Васьки ничего лучше этой скупой ласки...

Через полузамерзшие болота пробирались. Я тогда еще в пехоте служил. Через болотца-то и надеялись выйти к своим. А взводный наш, Степка, как на грех, ногу подвихнул, может, и сломал, ступить не может. Помогаем с учителем взводному. На пяти ногах прыгаем в арьергарде. Поотстали от своих, вначале маленько, после — и голосов не слышать. Темень надвигается. Ночь кое-как скоротали, промерзли насквозь. Нога у взводного вовсе разбухла, сапог снять не может. Куда идти? Учитель, однако, определил по звездам направление. Плетемся. То взводный на наши плечи опирается, то на

«стульчике» его несем... «Умеешь стульчик делать?» — спрашивает меня Иван Алексеевич, мы перекрещиваем руки, берем друг друга за запястья, получается сиденье.

— Ксенья, — смеется Иван Алексеевич, обращаясь к моей маме, — садись на наш стульчик, отдохни.

— Ну, а дальше, давай дальше, — размыкаю я руки и придвигаюсь ближе к Рябкову.

— Ну, несем мы взводного и не доглядели — провалились в болотце, сами-то тут же выпрыгнули; Степан сильно замочился. Решили отжать его одежду, перекурить заодно.

Где свои, где немцы, много еще идти?.. Я молчу, не спрашиваю, а сам вижу — земляк-то мой, учитель, неуверенно оглядывается, заплутал, зная. И тут услышали мы — сучки потрескивают, идет кто-то в нашу сторону. Невдалеке, но пока не видать. Не один идет, не двое, а на слух так человек десять отряд. Ну, думаем, может, спасенье? И так крикнуть хочется: «Братцы, здесь мы, свои, помогите!» А что как фрицы? С тремя-то винтовками что мы против их автоматов?

Идет тот отряд молча, только кусты шуршат, лед молодой под ногами похрустывает. Все ближе они. Укрылись мы за кустиками, сжались в комок. Коли враг, может, мимо судьба пронесет. И верно — мимо прошли, удаляться стали... И вдруг кто-то там, у них, поскользнулся, видать, паземь упал, да этак-то, по-русски, и высказался... Тут мы от радости так и вскинулись: наши, наши!

— Да вот ведь еще имеется трофейчик, — не унимается Марфа, достает с горки книжку в коричневой обложке, смахивает пыль. — Во, поглядите — Ме... Ю. Лермонтов! Удивительный ты подарок привез, — говорит не то дивясь, не то укоряя.

Иван ставит гармонь на лавку, берет из рук жены книжку, будто читать собирается, потом хлопывает:

— На-ко, Вася! Досталась мне книга от товарища по взводу. Хоть он был мне не ровня — по возрасту моложе, по грамоте учитель, а подружился мы, из одного кисета брали махру. Потерял я его под Харьковом. Книжка осталась. Бывало, раскроет он книгу, тишина перед боем... Маша, так я отдаю книгу Василию?

— А мне што? Куда я с ней?

Шрам на лбу Рябкова еще больше белеет. Он с размаху бьет ладонью по столу.

Саша с Уралмаша обхватывает Ивана за плечи.

— Ваня, Ванюшка, — причитает тетка Маша, — уймись, родной!

Дядя Иван тяжело и послушно оседает на скамейке, вцепившись руками в края стола. Маша вытаскивает из-под косынки гребенку и причесывает его русые волосы, целует его в щеку:

— Так ведь я глупая баба! Конечно, подари Васе. Он тоже тебя ждал.

Васька весь напрягается, не веря счастью, следит, как тяжелые руки дяди Вани прощально разглаживают книгу.

МАЙ 1945-го

О московских салютах мы знали давно, еще с прошлого — сорок четвертого — года. Эх, пожить бы в Москве: Красная площадь, ракеты, самый большой зоопарк, метро — обо всем нам порассказали пацаны из дома эвакуированных. А сегодня, еще до того как вышли газеты, принес почтальон праздничный экстренный выпуск «Уральского рабочего». День Победы, нерабочий день, портрет Сталина в кителе, с орденами... А вот и о победном салюте в Москве, на кораблях, тридцатью артиллерийскими, из тысячи орудий!

И хотя с утра по городу разнесся слух, что впервые, как только стемнеет, ударят в небо ракеты над Исетью, все же салют 45-го был неожиданным, громким, невероятно многоцветным, счастливым. Это, наверное, так же, как всегда бывает с новогодней елкой: сколько бы лет ни прошло, а новогодняя пахучая елочка со свечами или с ламповыми мигающими огоньками, с огромными, таинственно и глубоко посвечивающими золотыми, малиновыми, изумрудными шарами или даже украшенная самодельными бумажными цепями и картонными зайчонками — всегда волшебство и открытие. А тут — впервые!.. Никогда такого не бывало!

В школу никто не пошел. Только звеньевой, шестиклассник Геннадий, хронический отличник, потащился со своим огромным бухгалтерским портфелем ко второй смене, под дождем. Да еще кто-то там, говорили, явился, двое или трое, а сторожиха Малинина посмеялась и отправила всех по домам, газеты, говорит, читать надо, не рабочий день, праздник.

К вечеру мы все нарядились. Пришел из флигеля дедушка с подстриженной бородой, в мичуринской шляпе с широкой зеленой лентой. И бабушка достала из комода старинное театральное платье, и теперь из-под ее телогрейки видны были накрахмаленные белоснежные рукава и рубиновые бисеринки. Соседи незлобиво посмеивались, но разделяли ее чувство величия и необычности окружающего мира. М-и-р-а! Праздник делал всех добрыми, готовыми принять любое чудачество ради радости. Мама набросала в уют углей и разложила на столе платье с огромными яблоневыми цветами. Да ведь это то самое платье! В нем была мама в тот день, когда мы ходили в парк и папа нес меня через мост на руках и смешно щекотал своим рыжим усом, а я все просился к той вышке, где можно было прыгнуть с парашютом, а мне объясняли, что это нельзя, что я еще маленький и легкий и парашют не дотянет до земли... В тот непонятно

страшный день, когда все разом подошли к радиорепродуктору на столбе, а потом вдруг торопливо пошли домой, хотя светило солнце, пели птицы, серебрилась река. Началась война, и нельзя было больше оставаться в парке, никакого смысла не было в веселом солнце! А я все каючил, все тянулся: хочу парашют... И нет больше папы...

...Я не стал дожидаться маму и дедушку и выбежал на улицу первым. А там уже бегали наши ребята, тоже приодетые. На Кольке была новая телогрейка защитного цвета, а на Женьке — отцовская пилотка со звездой, а Гошка опять цокал деревянными подметками брезентовых ботинок по дощатому, единственному уцелевшему дощатому тротуару возле дома пенсионеров Иовлевых. Ребята постарше толпились возле тополя и что-то там такое рассматривали...

— Осторожно, капсюль не задень, — говорил Герка, — дай-ка мне щипцы. Пацаны, отойди подальше!

— Что это у вас? — протолкнулся я поближе.

— Давай отсюда! Трассирующие патроны, понял!

Вначале я ничего не понял. Фомич объяснил мне: Герка где-то раздобыл целых шесть настоящих патронов, да не простых, а пули которых после выстрела летят и светятся. Теперь вот только обезвредить бы их. Герка уцелил патрон щипцами, а Фомич достал из-за голенища плоскогубцы, и они стали пыхтеть и отплевываться и ругать друг друга, оттого что пуля никак не отделялась от гильзы.

— Есть, — сказал Герка, вытирая лоб, — давай следующий.

Тут вдруг как что-то грохнет. Там, за рекой, в центре. Земля вздрогнула, в небе защелкало... И — сотни разноцветных огоньков раскинулись радостным звездчатым букетом над нашим городом.

— Салют!!!

— Победа! Ура-а-а!

Кричала в основном ребятня. А взрослые стояли, с детской улыбкой смотрели в небо, здоровались друг с другом за руку, обнимались, поздравляли, плакали.

Дядя Леша Бажуков, уже вернувшийся с фронта с двумя медалями «За отвагу», успокаивал соседок:

— Ничего, скоро и ваши придут!

Худой и длинный Андрей Зудкин с красными и желтыми нашивками за ранения на гимнастерке молча курит у забора. Пенсионеры Иовлевы украдкой крестятся прямо на цветистые огоньки салюта. Вот родители Фомича, мои дед и бабушка... Где же мама? И когда небо опять осветилось, я увидел, что мама, молодая и красивая мама в своем довоенном яблоневоm платье стоит там, дома, за окном, она так и не вышла на улицу... Я точно знал — она плакала.

И новый залп ударил над городом!

— Ой-е-е-ей! Беда, бабы, беда, — из барака выскочила растрепанная, заспанная тетка Настя. — Сюды пошто па-лит?!

— Салют в честь победы, тетка! Не знаешь?

— Ой, дак откуль мне знать-ту, радио сломалось, а мои с утра куда-то удули, полные карманы пуль. Я уж спать собралась... Ну так с праздником, мои добрые! Дожили...

Она стала утираться фартуком, а вокруг все засмеялись.

А мы помчались туда, скорей, скорее туда, где одна за другой вспыхивали в небе звездные россыпи.

— Во, смотрите, — кричал на бегу Женька, — смотрите, как медленно опускается!

— Это с парашютиком, оттого и медленно, — пояснял всезнающий Фомич, — чтобы дольше, понял, освещать позиции!

Те, что с парашютиком, нам особенно нравились. Так хотелось увидеть, откуда они вылетают, так хотелось

догнать хоть одну, поймать ее или найти на земле, пощупать, а может, и еще раз запустить. Но, пробежав один квартал и другой, запыхавшись, остановились мы у речки Монастырки, поняли: это только кажется так, что стреляют вблизи, на самом-то деле далеко где-то пушки, видно, за прудом установлены.

У Монастырки собрались ребята из дома эвакуированных. Они смотрели в небо и стройно пели: «В бой за Родину, в бой за Сталина, боевая честь нам дорога, кони сытые бьют копытами...» Красиво пели они и смотрели на нас с какой-то гордостью, задавались пацаны, еще бы, они были из Москвы, некоторые и зажигалки тушили, они близко знали войну.

Кончился салют неожиданно, разом. Взлетели было в небо еще одна-две запоздалые ракеты, тут же погасли, стало темно и тихо. Песня замолкла, «ура!» никто не кричал. Вот тут-то мы, разинцы, и покажем себя.

— Заряжай! — сам себе приказал Герка и вложил в ремешок рогатки трассирующую пулю. — Поджигай! — растянул он резину.

Малышня бросилась врассыпную, а я отбежал за акацию. И только заметил, как взглянул на меня Фомич, как криво усмехнулся разинский капитан.

Колька чиркнул спичкой, но близко подойти не решался, спичка погорела и погасла.

— Ну что же вы, салаги? — крикнул Герка.

— Дайте мне, — выступил я из-за куста.

Я, конечно, немного боялся, помня рассказы в дедушкином доме о том, как оторвало пальцы моему дяде, когда он, малец, начал раскурочивать патрон еще от той, от гражданской. А еще это, что рассказывал лейтенант Моргунов, лежавший в свердловском госпитале: его младший братишка подорвался под Брянском. Нашли там пацаны фашистский танковый снаряд, уволокли его в сараюшку, разглядывают. А пятилетка Моргунчик вдарил по снаряду молотком. Сразу всех пятерых уложило. Пид-

жачок Моргунчика аж на дерево забросило. Так бы и не узнали, чем их, да один пацанчик оказался за толстой железной бочкой, он и признался, когда в себя пришел.

Я, конечно, боялся, хоть и видел — отделили патрон от пули, но кто их знает, эти самые трассирующие... Но я помнил, как смеялись надо мной ребята, когда зимой я вместе со всеми залез на крышу, а прыгнуть в снежную кучу струсил, может, они об этом уже забыли, я помнил.

— Дайте мне.— Я чиркнул спичкой и поднес ее к Геркиной рогатке. Тут же ярко вспыхнуло, зашипело, засверкало слепящими искрами. И — Герка отпустил резину. Большая зеленая ракета взвилась над нашей улицей.

— Ура-а-а! Победа, наша победа!

И мы запустили еще белую, а потом еще одну — красную. И она долго и медленно опускалась над тополем, над каланчой, над трампарком, как будто понимала, что она последняя и так не хочется, чтобы кончался этот первый свердловский победный салют.

В мае 45-го мало было вернувшихся с фронта. Все ночи в мае, июне, июле — тука-тука-тук — через город, без остановок и гудков, шли и шли, шли и шли эшелоны на восток...

Оттаивал и понемногу оживал наш парк над Исетью, народу в нем было немного, еще не опомнился тыловой город от военной беды. Но уже смазывал сторож скрипучую карусель, отмывал вехоткой деревянных лошадок, у которых были отломлены то нога, то голова, уже красили тетками известкой деревья и статуи. Гуляли по аллеям курсанты школы ВВС с десятиклассниками из 13-й школы. И уже раздались по радио маршевые звуки пианино и бодрый голос диктора Гордеева провозгласил:

— Доброе утро, товарищи! Начинаем урок гимнастики!

Для нас это было необычным, новым. Но мама сказала, что так было до войны.

В парке на фоне белесого холодного неба чернели перекрестия парашютной вышки, одиноко скрипел, покачиваясь, тросик, к которому крепился прежде парашют.

Возле вышки стоял, задрав кверху голову, подросток Борька Шишенин. Он жил на нашей улице, в угловом доме, возле трампарка. На телогрейке у Борьки поблескивала медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Когда я пришел домой, пристал к маме.

— Мам,— спросил я,— чего это Борька медаль нацепил, может, продают где?..

— Его наградили, наверное.

— Почему же тебе не дают медаль?

— У меня перерыв был в работе, ты же знаешь,— отец умирал. А Шишенин с двенадцати лет на инструментальном, все четыре года, заслужил.

...Председатель маминой артели «Красный текстильщик» говорит на митинге громко, красиво, о победе говорит, о темпах, о том, как не подвели артельщицы фронт, когда шили для бойцов полушубки и маскхалаты, трехпалые рукавицы и вещмешки. Председатель вручает жепшипам новенькие желтые медали за доблестный труд. И хоть не полагается такая медаль маме, я все же надеюсь, а вдруг... Но вот и список закончился. И тут председатель вызывает в президиум мою маму:

— Ты, Ермолаевна, не горюй, что без медали осталась, такой указ. Вот и Лизка Стамикова не получила, и Хафизова Шурапа. Молоды еще, сил наберетесь, заработаете награды. А за ударный труд награждает тебя обком профсоюза Почетной грамотой!

И все захлопали в ладоши в честь моей мамы. Я стал рассматривать большую разноцветную грамоту с портре-

тами Лепина и Сталина, со знаменами и завитушками, и тут толкает меня кто-то в бок:

— Иди, тебя вызывают!

А председатель вновь называет мою фамилию и имя с отчеством. Я встаю и иду к трибуне.

Правый, пустой, рукав у председателя выбился из кармана и мотается во все стороны. Председатель крепко жмет мою руку своей сильной левой рукой, а потом вручает мне сверток:

— Это тебе, сынок, за то, что помогал матери, помогал артели.

...А в свертке оказались брюки, белесые, застиранные фээушные брюки. Настоящие! Не штаники какие-нибудь с лямками, не шаровары бумазейные, в чем я ходил до тех пор, а мужские, с карманами, крючками и петельками для ремня. Мои первые брюки! А еще в свертке была буденовка. Прислали ее, видать, с фронта вместе с полушубками, пробитыми осколками, порванными маскхалатами, для ремонта прислали. Но к концу войны изменилась во всех частях форма солдатская: пилотка, ушанка, каска. А буденовка вот залежалась в артельном складе... Серая, шинельная, первого размера. Вот только звезда на ней пришита черная, сукодная.

— Это чтобы бойца издалека не видно было,— говорит Женька, которому я дал, дома уже, померить мою буденовку.

Но все же как-то нехорошо, думаю я, звезда, и вдруг — черная, для маскировки, понятно, а если, например, на параде? И я выменял у Женьки за фляжку красную железную, покрытую лаком звездочку и прикрепил ее сверху сукодной звезды. Вот теперь было то, что надо!

Я прихожу в наш старый сосновый парк, иду по песчаным дорожкам вдоль Исети, мимо белых гипсовых оленей и мальчика с горном. Нет уж давно ни лодочной стаи-

ции, ни библиотеки с ажурной, увитой настурцией стенкой, ни прудика заросшего, в котором плавали кряквы, ни парашютной вышки. Я иду и вспоминаю отца, и мамино яблоневое платье, и парашют, и — смутно — первый день войны, и — ярко — День Победы...

Недавно мой сосед Максимка рассказал, что в другом каком-то парке построили будто бы парашютную вышку, а его вот не допускают к прыжкам, говорят, надо весить 50 килограмм. Максимка уж набивал карманы камнями, обматывал грудь и живот толстой проволокой, нет, не достегивает. Пойдемте, говорит Максимка, вам хорошо, вас пустят, ведь вам давно хотелось... Можно было бы, конечно, пойти, попробовать, тем более весу теперь во мне куда как достаточно. Но что-то не очень хочется: ведь там пацаны, подростки и малыши, которых пока не пускают, и, наверное, им будет очень смешно, когда шестипудовый бородатый лысый дядька будет быстро-быстро лететь к земле. Нет, не пойду я туда. Лучше натяну я на голову буденовку — странно, я ходил в ней в третий класс, а она мне и теперь впору, — я надену серую шинельную буденовку с красной лучистой солдатской звездой и буду смотреть на себя в зеркало, как в свое детство...

ХЛЕБНАЯ КАРТОЧКА

1

Метель сыпала в окна белой крупой. В комнате, еще недавно холодной и неудобной, стало хорошо от натопленной железной печки. Гошка принес еще охапку щепы, бросил на пол.

— Отряхни валенки, — по-взрослому, подражая матери, прикрикнула Лелька, — ты, Гошка, никак не привык-

нешь, вон Володька всегда отряхивает, поэтому у них чисто. Володька, ты у нас почевать будешь?

— Не знаю, наверно. Мама в третью смену останется.

Володька на миг задумался, но тут же повеселел, ему правилось быть у своих друзей-соседей.

Володька и Гошка снова стали играть в гараж, перевозили из холодного угла комнаты ближе к раскалившейся «буржуйке» прицепы, самодельные пушки и самоходки.

— Хозяйка, обед готов? — кричал Гошка сквозь Володькино тарахтенье.

— Работайте, работайте, скоро будет готов! — отвечала Лелька.

А от печки уже аппетитно пахло печеным. Это Лелька собрала очистки картошки, где-то раздобыла даже целую картофелину, похожую на матрешку с круглой головой и руками-пупышками. Она протерла тряпкой бок печурки и, нарезаая картошку пластиками, клала их на раскаленный металл. Румянящиеся пощелкивающие кружочки (их называли почему-то рябчиками) она посыпала крупной солью. Картофельная кожура тоже шла в дело. Наконец обед был готов. Лелька разложила рябчики в маленькие кукольные чашки и позвала «мужчин»:

— Кончайте работу, перерыв!

«Мужчины» сначала солидно, с достоинством надкусили по первому ломтику картошки, но вскоре, забыв все правила игры, умяли игрушечный обед.

— Хозяйка, наливай чаю.

Лелька разлила по чашкам кипяток.

— Эх, сейчас бы хлебушка, — потянулся Володька.

Молча хлебали кипяток. Вдруг Гошка громко поставил свою кружку, деловито подошел к шкафу, влез на табуретку и, быстро пошарив рукой за посудой, стоявшей на верхней полке, вытащил оттуда... буханку хлеба. Вот это да! Хлеб. Черный хлеб с коричневой, усеянной мякиной поджаристой корочкой. Ух ты! Лелька от удивления перестала жевать и разинула рот.

— Нате, понюхайте,— Гошка широко улыбался.

Ребята по очереди понюхали хлеб, а Гошка даже откусил немного с уголка.

— Гошка, положи обратно,— приказала Лелька,— это, наверно, папа спрятал, чтоб ты не сожрал, может, крестная с бабушкой придут, тогда и есть будем.

— Ладно ты, раскомандовалась... Знаете что, давайте отрежем корку, вынем немного хлеба, а потом корку опять приклеим.

— Да... как... ведь заметят.

— Ни фиги не заметят.

Гошка схватил нож и...

Ах, Гошка, Гошка, что он делал. Ведь знал своего отца, знал, чем это может кончиться. И тетя Нина, и дядя Андриюша были добрые, хорошие, но дядя Андриюша часто заводился, совсем стал каким-то психованным, особенно в последнее время. А вы, Володька с Лелькой, тоже мне, товарищи нашлись, нет чтоб остановить друга вовремя. Но и нам хотелось хлебушка. У меня слюнки так и потекли. И мысленно мы уже перекатывали на зубах тяжело-весную ржануху.

И Гошка ловко вырезал брусочек поджаристой корки, словно пробу на арбузе сделал. Затем он проник двумя пальцами в мякиш и вытащил еще кусок. И еще. Вырезанную корочку поставил на место, вскочил на табуретку, осторожно водворил хлеб на прежнее место и задвинул его разными там соусницами и молочниками.

А Лелька уже делила добычу поровну. После такого обеда с хлебушком да кипяточком жизнь пошла веселее. Потом ребята рассматривали слонов и мартышек в тяжелом бремесном томе. А Гошка, несмотря на Лелькины уговоры, раз пять лазил в шкаф и наворачивал хлеб. В конце концов от булки, наверное, осталась одна оболочка — корка.

Потом все трое напялили на себя пимы и шубейки и выскочили на улицу...

Домой собрались, когда уж снег синим подернулся, а застывшие окна засветились довоенными новогодними мандариновыми дольками, родители с работы пришли.

— Гошка, Лелька, до-о-мой,— кричала в форточку тетя Нина.

Увязая в сугробах, на ходу сталкивая друг друга в снег, ребята бежали к дому. А дома, оказывается, уже гости пришли: крестная Зинаида Андреевна со своей внучкой Арочкой. У Арочки на шее завязан большой синий бант, а сама она — бледненькая и серьезная. И хоть лет ей было столько же, как и Лельке, только еще в школу собиралась, Арочка всегда важничала, изображая из себя артистку. Да и взрослые потакали ей: Арочка такая умница, у нее изумительные способности, ах, Арочка, покажи, как ты ходишь на пуантах. И Арочка грациозно ходила на носках, согнув бледные ручки в острых локотках, жеманно приседая и поворачиваясь. Вообще-то, если по-честному, она была, конечно, хорошенькая. Только уж больно худая.

Гошка, Лелька и Володька вошли, и все трое поздоровались с гостями за руку.

— Гошка, принеси-ка дров,— сказал дядя Андрюша.— Нина, доставай, что там у нас припасено...

— Да вы не беспокойтесь, Андрюша, Нина,— говорила Зинаида Андреевна,— какое-там угощение, мы так зашли, давно не виделись. Андрюша, была комиссия?

— Была, Зина, была, здоров полностью, но с моим глазом, сама знаешь.

У дяди Андрюши один глаз сильно косил, иногда совсем закатывался куда-то под переносицу. Поэтому его и не брали на фронт: как бы он стал целиться из винтовки? Если бы еще левый глаз, а то — правый, все время промахивался бы.

— Гошка, ты что там копаешься, идите с Вовкой за

дровами. Нина, доставай хлеб, лярд, я сейчас чайку вскипачу, не часто сестра заходит, да и Арочка к нам сегодня явилась, ах, какой у Арочки бант...

Арочка заерзала на стуле и, прищурив глазки, притонулась к банту.

Гошка с Володькой без шуб выскочили на мороз, туда, где в дрожащем лунном свете голубела поленница березовых и осиновых дров.

— Гошка, они же сейчас узнают, что будет? — приставал к другу Володька. И в воображении его уже рисовалось: вот тетя Нина достает из-за чашек буханку хлеба и, разговаривая с гостями, ничего не замечает. И Арочка, танцуя, уже подходит к столу и усаживается в предвкушении сладкого чая, уж ей-то, будущей артистке, найдут кусочек настоящего сахара, а не сахарину. Но вот тетя Нина пилит булку ножом, и нож резко проваливается, а отвалившаяся горбушка катится на пол, открывая голодную пасть выеденной буханки. И Лелька водит пальцем по рисованным розам на блюде. И все неловко молчат. Глаза дяди Андрюши темнеют, а один глаз укатывается за переносицу, открывая желтовато-красный белок... Но все это пока только в Володькином воображении, может, все еще обойдется как-нибудь...

Гошка присел на корточки и начал накладывать в охапку осиновые дрова.

— Возьми еще четыре березовых, — указал он Володьке.

Но тот и без того знал, надо экономить дрова, — больше осиновых, а для жару и на растопку — березу.

Сердце громко стучало, отдаваясь где-то под лопаткой, пар валил изо рта.

Вдруг открылись двери, черной тенью вышел из них дядя Андрюша, большой и широкий в мохнатом своем свитере. Быстро и тяжело прошел он через двор, встал над ребятами. Володька боком, как воробей, отпрыгнул в сторону сарая. На него дядя Андрюша и не взглянул.

— Ты это сделал? — негромко спросил дядя Андриюша Гошку.

Гошка как сидел на корточках с оханкой дров, так и продолжал сидеть, неподвижный, сжавшийся темный комочек.

— Ты? — опять негромко спросил его отец. — Признавайся, собака! — Он дернул за ручку топор, всаженный в толстый сучковатый чурбан, и взмахнул им над головой.

Володька хотел кричать, хотел как-то спасти друга, но звуки словно застыли в глотке, и только пар вылетал изо рта, заволакивая глаза, заслоняя и Гошку, и его отца, и поленницу. Или это оттого, что и вправду Володька на миг закрыл глаза.

Длинное похабное раскатистое ругательство услышал он, из тех ругательств, что не раз слышали ребята на толкучке, в очередях.

Со страшной силой, глубоко, по самый обух, всадил дядя Андриюша топор в сучковатое бревно, чуть не распалось бревно. Он тяжело и быстро, как и выходил, направился к дому. Какой-то кричащий звук вырвался из его горла. Одно плечо у него крупно вздрагивало. Гошка все так же сидел на корточках с оханкой осиновых дров.

...Кто из нас в детстве не коллекционировал марки или фантики, старинные монеты или цветные стеклышки? Сейчас у меня от этих коллекций почти ничего не осталось: мешочек с позеленевшими пятаками и целковыми я подарил сыну, который оказался более старательным собирателем старины; гипсовые маски с древних скульптур (увлечение студенческих лет) передал другу-архитектору, который обладает сейчас, может быть, самой богатой в стране коллекцией и ведет переписку с Римом, Калькуттой и Кипром; многое было утрачено при переездах, а десятка три редких старинных книг, которые хра-

нились в сарае, на мелкие лоскутки разодрала свинья, устраивая себе ложе и готовясь к опоросу. Давно это было, еще в старом дедушкином доме...

Ничего почти не осталось, да, может, и не стоит тащить по жизни груз воспоминаний, копошений в прошлом. И только несколько вещичек лежит в письменном столе, как след моих предков и как память о детских годах. Это большая серебряная медаль «За усердие», принадлежащая моему прадеду, уральскому мастеровому из Баранчи. Это ростовская финифть с изображением Николая-чудотворца и Семеона Верхотурского, ладанка, с которой ходили в походы на турка и немца мои пращуры. А вот уже революционный Урал: желтая, в мелких морщинах газета на тонкой бумаге — ленинская «Искра» и первый советский рубль, выпущенный в Екатеринбурге. Ну и, конечно, еще этот бежевый квиток, разделанный на клеточки. В каждой клеточке напечатано: «хлеб — 200 гр.», «хлеб — 200 гр.», «хлеб — 200 гр.»... Бумажка эта, пожалуй, не представляет особого интереса ни для истовых коллекционеров, ни для моих друзей и знакомых, любящих повертеть в руках какой-нибудь елизаветинский грош или медный, со следами эмали, складень. А я вот храню и храню хлебную карточку. Для одних она ничто, для других, для большинства, — черные ночи затемненных городов и манатки эвакуированных, молчаливые злые очереди у магазинов и грозные сводки Совинформбюро. Да мало ли что. Для каждого — свои, конкретные воспоминания, картины горькой военной поры. И вот время от времени, когда я достаю из ящика моего письменного стола эту неотоваренную карточку с чернильным штампом магазина, с подписью «при утрате не возобновляется», с квадратными клетками, в которых черным по желтому: «хлеб 200 грамм», «хлеб 200 грамм» — вот тогда мне и вспоминается то далекое и неотвратимое.

...Было время в отроческом возрасте, когда все мы, ребята с улицы Степана Разина, ударились в блатную романтику. Хромовые сапоги, челка, фуражечка с козырьком в два пальца, зуб — золотая фикса, гордая независимая походка — вот мода тех лет на загородных улицах. Дутая была мода, искусственная, шла она от воров и «законников», жизнь которых представлялась нам одно время полной приключений, мужества и чуть ли не героизма.

В один из теплых вечеров Борька Коршунов сидел с нами, подростками, на краю канавы и вел рассказы. Он шел с работы, летний вечер долог, домой, видно, не хотелось (был он холостой), вот и разоткровенничался.

— Ну, что, пацаны, как житуха? Витька, ты кончай носить медную фикса, отравишься. Во, смотрите, я в сорок седьмом поставил вот этих два рыжих (он оттянул пальцем губу и показал два золотых зуба), у нас тут возле милицейского городка доктор-частник жил, классно делал. Он Николе на все зубы коронки поставил. У, Никола многое мог, да вы ведь его брата Шурика знаете, ну, этот, — недавно освободился. Ну я что, я еще малолеткой у них считался. Однажды Шурик говорит мне: «Борька, пошли на бан уголки сшибать». Я уши развесил, думаю — что это? А вы-то знаете, а, пацаны?

— Да, знаем, знаем, Боря, — небрежно бросает Витек.

— Ну что, что это? — донимает Коршунов.

— Айда, значит, чемоданы на вокзале воровать...

— Ты смотри, Витек, молодец, далеко пойдешь! Ну вот, дунули мы с Николой и Шуриком на вокзал, в зал ожидания. Они мне говорят: ты, мол, на шухере стоять будешь, как только увидишь легавого, пой во всю глотку «Позабыт, позаброшен». Ой, хохма, сейчас-то я понимаю, они надо мной немного подсмеивались. А вообще, фартовые были ребята. Николу, говорят, недавно за попытку к бегству пристрелили, а Шурик вот освободился, у него эта, как ее, эпилепсия, дерганный он, припадочки все время, мать с ним замучилась. Эх, если бы их возраст

подошел да они на фронте дали бы фрицам пороху!

— Подожди, Боря, ну а что дальше-то?

— Что дальше? А! Ну там, на вокзале, мы ничего не сорвали. Поехали в кино, в клуб Буденного. Никола всем мороженки кушил, денег у него — пачка, все красненькими, по три червонца. Заходим мы в вестибюль, в кассу — небольшая очередь. Смотрим, какой-то старик в светлом макинтоше по автомату звонит, опускает за гривенником гривенник, тогда за десять копеек звонили...

— Да знаем, знаем.

— Смотрю, Шурик подходит к старику тихонько сзади. Тот ничего не замечает, уперся большим носом в трубку. Шурик двумя пальцами — ему в карман макинтоша. Вижу, вытаскивает желтый кожаный бумажник И р-р-раз — мне по паркету, скользом. Я хоть и не ожидал, тут же — раз его — ногой перехватил и Николе перепульнул. Никола медленно вышел из клуба, а там, уже на улице, — мне через окно-то видно, — как пустит тикать за киностудию! И тут старик, видно, вспомнил о бумажнике, хлоп по карману, хлоп по другому — пусто! Он прямо так и замер. Мы стоим с Шуриком в сторонке как ни в чем не бывало, доедаем мороженое. Старик стоял, стоял, вдруг стал белый-белый. И слезы у него из глаз. И как даст, как даст головой о стенку...

Мы все сидели и молчали. И Борька Коршунов замолчал. Один Юрка-малолетка хихикнул.

— А чего там, в бумажнике-то, было?

— Ну, что... бумаги всякие. И эти, хлебные и продуктовые карточки на месяц, на семью.

Может быть, тогда впервые мы подумали — кому же мы подражаем? Да, никто из нас не отказался сразу от той внешней моды, но, наверное, каждый впервые задумался о цене воровской романтики.

Борьку Коршунова несло дальше.

— Ну, там, карточки, подумаешь, на месяц, может, он снабженцем работал. А еще в бумажнике была шкод-

ная фотография какого-то солдата с бритой башкой.

— Наверное, сын того старика? — сказал Витек.

...Живем мы сейчас неплохо. И когда ждут гостей, то прежде всего закупают конфеты, колбасу, консервы разные. О хлебе вспоминают в последнюю очередь. У свердловского поэта-фронтовика горько сказано об этом: «...но для хлеба на большом столе не нашлось свободного угла. И хозяин, понимая суть только вин, томящихся в стекле: «Да поставь ты хлеб куда-нибудь, будет тут мешаться на столе»...

Все же большинство наших людей, особенно тех, кто помнит голодные годы, ценит хлеб.

— Павлик, подбери кусочек, — говорит моя мама внуку, моему сыну, когда они сидят на скамейке у подъезда.

— Куда мне его?

— Ну, собаке отдашь или просто в сторонку положи, чтоб не топтали. Грех ведь — хлеб на дороге валяется.

И я знаю, что мой сын никогда не бросит на землю кусок хлеба.

Нам со сметаною блины
Понадоели,
И мамы не удивлены,
Что не доели.
А помнишь очередь с утра —
Лихое время!
О, хлебных карточек пора,
Бараков бремя,
Вот со стены глядят глаза,
Желтеет фото,
Была военная гроза
И самолеты.
На фотокарточке той снят
Худой подросток
И смотрит, смотрит на меня
С немым вопросом.
Как будто мерзнет без огня
Под черным небом,
Как будто просит у меня
Кусочек хлеба.

Как-то мне рассказали о случае, происшедшем недавно в Ленинграде. Старенький седой профессор, шагая по Фонтанке, увидел, как толстуха буфетчица со своей помощницей выбрасывали из киоска румяные пирожки прямо в мусорный помойный ящик. Зрелище это так подействовало на профессора, что он не мог дальше переставлять ноги. Подбежавшие люди помогли старичку отдышаться, женщина торопливо искала в сумочке валидол. Старик мотал головой и дрожащим длинным пальцем указывал на буфетниц: смотрите, смотрите, что они делают, как они смеют!

— Что, что вы орете! — завопила толстая буфетчица. — Нате, посмотрите, они плесневеть начали, комиссию ждать, чтоб нам попало, да?

Однако толпа не унималась, образовался даже маленький митинг. Конечно, никто не хотел испорченной пищи, но можно все это было сдать на корм или еще куда. Кому-кому, а уж ленинградцам-то известна цена хлебной крохи.

А на буфетчицу был составлен протокол. Толпа разошлась. И профессор, посасывая леденящую язык таблетку валидола, пошагал дальше по своим делам.

Вспомнились мне еще три хлеба, или, как пишут в магазинах, «хлебобулочных изделия».

Первое — это ромовая баба, последнее предвоенное «вкусное» воспоминание. Мне было в ту пору года два. С мамой и папой мы идем по улице Фурманова, потом сворачиваем на 8 Марта, к магазину Окишина. Этот двухэтажный магазин с каменным нижним этажом и деревянным верхом жив и сегодня. Во дворе — пекарня. Когда-то, во времена нэпа, хозяйством владел некто Окишин. Название «магазин Окишина» так и катилось из уст в уста, через пору индустриализации, военные дни и ночи, через восстановительный период вплоть до 60-х годов, пока не стали массово сносить деревянную застройку

ближайших кварталов. Сейчас здесь техническое училище, где девушки учатся стряпать и выпекать хлеба. Идешь мимо — пахнет сдобой, а в магазине всегда — свежая выпечка. Самого Окишина давным-давно нет, а вот название живо, но не как память о преуспевающем нэпмане, а просто как название места; бывает, пока не вдумаешься, и не знаешь, почему так говоришь.

Так вот, втроем мы приходим в магазин, покупаем хлеб, свободно, еще без тех длинных серых ночных очередей, которые через полгода потянутся по всей стране.

Такая идиллическая мирная картина. И мама в платье с крупными яблоневыми цветами. И папа мой, коренастый, живой и здоровый. Он берет меня на руки, и я хохочу оттого, что его рыжий ус щекочет мою щеку. А от висков его по-мужски пахнет смесью табака и одеколона. Папа покупает мне большую ромовушку, а я еще что-то капризничаю, кочевряжусь. И рыжая ромовая баба, облитая сверху сахарной глазурью и пропитанная ароматными пряностями... Как давно это было!

Пожалуй, еще один только раз я попробовал такую ромовую бабу, в Румынии, в Бухаресте. Она была так же огромна, но полита розовым конфитюром, свежая и, что самое главное и должно быть в этой стряпне, насыщенная ароматным сладковатым ромом, растекающимся во рту, тающим вместе с желтоватым сдобным пропеченным тестом, в которое вкраплены изюминки...

Прошло четыре года после той довоенной ромовушки. Другой кусок хлеба запомнился мне — довольно крупный довесок к полубрусу ржаного хлеба.

Не успели мы сесть за стол, как я схватил этот довесок, недолго его пожевал, заглотил и чем-то поперхнулся. Казалось, что в горло воткнулась кость. Объяснялось-то все просто: мука тогда просеивалась плохо, тесто замешивалось с мякиной. Вот такая мякинина и воткнулась в горло. Я закашлялся, аж слезы выступили.

— Ну, что, вышла? — спрашивает мама.

Прислушиваясь, глотаю слюну.

— Колет!

— Господи, да что же делать! На, воды попей.

Пью воду. Нет, не проходит, хоть к доктору беги.

— Съешь горбушку,— говорит она мне.

— Как же горбушку? — хриплым голосом возмущаюсь я.— Воду-то пить больно.

— Ешь,— приказывает мама,— и поменьше ее разжевывай, поможет.

Давясь, заставляю себя проглотить крупные кусочки горбушки. Ха, и правда, прошло!

— Прошло! — говорю ясным голосом.

— Слава богу,— облегченно вздыхает мама,— в следующий раз щупай языком-то, не торопись, крупную-то мякину хоть выбирай.

Вспоминается и еще один хлебец.

Дядя мой был доктором наук, преподавал в горном институте. Во время войны крупные ученые закреплялись за главным городским гастрономом. По специальному пропуску они могли войти в гастроном и отовариться, то есть купить себе что-нибудь на деньги, без карточек. Конечно, и для ученых обилия не было, но все же. Тетя однажды дала нам дядин пропуск, чтобы мы тоже сходили и отоварились. «Особторг» — вспомнил, как назывались эти магазины, да — «Особторг»! И вот мы с мамой в главном магазине города. Запомнился запах копченостей. И еще огромные муляжи из папье-маше в витринах — окороки, колбаса с кружочками жира, сыр голландский в красной корочке с обязательным вырезанным брусочком. Мне всегда казалось, что этот вырез и есть знаменитый «Сыр выпал, с ним была плутовка такова».

Мы купили пару копченых селедок, крупы перловой. И французскую сайку (теперь ее переименовали в городскую булку). Румяную, с особой складочкой посередине.

— На,— сказала мне мама,— неси, ты, поди, таких и не помнишь.

Я нес сайку по гастроному и принюхивался к ней.

— Мам, мама, как до войны пахнет!

— Да, как до войны.

Многое тогда измерялось этим понятием «как до войны», даже запахи.

И вот я втягиваю жадными поздрами чистый пшеничный безмякинный аромат и даже немного надкусываю сайку.

— Сейчас я тебе еще что-то куплю! — мама подходит к стойке, где продают газировку, и платит продавщице деньги.

— На-ко, попробуй, — она протянула мне стакан с жидкостью кирпичного цвета.

Я думал, это кисель какой-нибудь сладкий.

— Ну, что это? — сморщился я.

— Да это же томатный сок, пей, полезно, давай я тебе его подсолю.

Но я не стал пить томатный сок, он мне тогда не понравился, и мама выпила сама. Зато я еще раз надкусил французскую сайку.

2

В северном уральском городке Верхотурье есть старое кладбище при действующей и ныне церкви. Из многих прежних церквей эта раньше сильно пугала людей: здесь отпевали умерших от чумы и холеры, здесь же, на кладбище, и хоронили их, чтобы не распространять заразы. Рассматривая надписи на пирамидках со звездами и на каменных купеческих изваяниях из уральского гранита, я наткнулся, почти наступил, на полузаросшую чугунную плиту; с трудом разбирая литые буквы, прочел: «Здесь поюится раб божий Согрин Афанасий Ивапов вольный землепашец из Рязани». Удивительные для нашего времени слова. Видимо, этот Афанасий каким-то образом получил вольную или откупную у барина. Во вся-

ком случае, он дорожил своим званием вольного человека и гордился им! И вот этот Афанасий Иванов приехал на северную уральскую землю, его умение землепашца пригодились и здесь, на землях не совсем уютных по сравнению с рязанскими. Но и тут среди тонких березок и холмистых увалов селились и трудились люди со времен Семеона Верхотурского, строились избы, ковалось железо, золотился куполами Троицкий собор, собиравший богомольцев со всей Руси. И хлеба свои сеялись, собирались, молотились, веялись, стряпались подовые караван, да картофельные шаньги, да пироги с брусникой.

Выбился Афанасий Иванов своим трудом в люди, и в немалые: это надо было сколько денег заработать, чтобы отлили плиту чугунную, когда скосила его черная чума.

Городского жителя иногда еще приходится убеждать в уважении к хлебу (вспомним плакаты в столовых). А вот кто сам бросал в землю зерна золотые...

Крестьянин из Долматовского района Макар Самойлович Захаров, приезжаючи в город к своим родственникам, жившим в доме на первом этаже, под нами, неизменно любил побывать и у нас, просто знакомых людей, посидеть, побалакать о жизни. И мне было неловко, когда он, человек в возрасте, с круглой седеющей бородой, подавая руку мне, городскому десятилетнему мальчику, всегда называл меня на «вы». Это было не заискивание, а все же какая-то боязнь всего городского, а может быть, и дооктябрьская привычка, втемяшенная в голову русского мужика многовековой барщиной.

— Ну что, Макар Самойлович, как у вас с яровыми? — спрашивала мама, тоже бывшая крестьянка, и по сей день считающая себя таковой, хотя вот уж полвека живет в промышленном городе.

— Отсеялись, Ермолаевна, отсеялись. Первыми отпартовали райкому. Боюсь токо, не рано ли в полюшко

вышли, земля-то еще студеная была. Уж Гриша Кудеря, на что хитрый мужик, снял ныне портки и сел голой задницей на землю, у него тятенька завсегда так проверял земляное тепло. Рано, говорит Гришка, сеять, тельце сильно мерзнет. Мы чо, посмеялись над ним токо, поне агрономы есть, им виднее, им из райцентра присылают документацию, как погода будет. Посеяли, были потом заморозки, не знаю, может, бог пронесет, уезжал — вроде всходы пошли. Это что! Вот помню, как в двадцать девятом мы по снегу сеяли, во дело было...

Я уже слышал этот рассказ, но притворяюсь незнающим и спрашиваю:

— Как это так, по снегу?

— А вот как. Прислали нового председателя, какого-то взбалмошного, остриженный нагладко, как баран. В галифе наган носил. Орет на собрании: «Завтре же чтоб начать посевную кампанию». Наши мужики говорят: одумайся, мол, Мартыныч, кака же така посевная, снег ведь еще в полях не весь сошел. Куда там! Одного мужика троцкистом назвал. Куда денешься, пошли пахать да сеять. Так в некоторых местах зернышки в снег и бросали...

Макар Самойлович допивает вторую чашку чая, переворачивает ее на блюде кверху донышком.

— Спасибо, Ермолаевна, и, Владимир, спасибо.

— Макар Самойлович, может, еще чашку, а? — предлагает мама. — Вот и ел что-то мало.

— Нет, благодарю, Ермолаевна, наелся, напился. Варенье у тебя хорошее, запашистое. И хлеб, глико, в городе научились печь, научились, хороший хлебушко.

Он считает с клеенки на большую темную ладонь хлебные крошки и ловко забрасывает их в рот.

Милая моя Родина, не баловала тебя испокон веков природа-матушка. То зной и засуха, земля растрескавшаяся, а то, как из прорвы, дожди проливные. А то еще

зима малоснежная да лютая, птица на лету гибнет, деревья вымерзают. Приходит весна-красна, а озимые-то плешинами всходят. Да вот недавно еще, 1968 год или 1979-й. Январь. Выйдешь на улицу, дышать трудно. Пес наш Антошка, на что уж собака лохматая, продрог, кричит человеческим голосом. Вскочит на меня передними лапами, ухватится зубами за рукавицу, не отпускает, плачет, жалуется. Пришлось бедолагу в кухню пустить, так еще какое-то время дрожал, есть отказывался. Вот она, природа-то северная, да еще и не северная, все же Средний Урал.

Не поскупимся к месту на длинную цитату, ибо это — свидетельство очевидца, «красного помещика» — землепашца Александра Николаевича Энгельгардта, письма его — изнутри крестьянской России конца прошлого века:

«В нашей губернии и в урожайные годы у редкого крестьянина хватает своего хлеба до нови; почти каждому приходится прикупать хлеб, а кому купить не на что, то посылают детей, стариков, старух в «кусочки» побираться по миру. В нынешнем же году у нас полнейший неурожай на все... а это самое трудное для крестьян, потому что при недостатке хлеба самому в миру еще можно прокормиться... а лошадь в мир побираться не пошлешь. Плохо, так плохо, что хуже быть не может. Дети еще до Козьмы — Демьяна (14 ноября по новому стилю — В. Б.) пошли в кусочки... Голод не свой брат: как не поеси, так и святых продаси. Совестно молодому парню или девушке, а делать нечего — надевает суму и идет в мир побираться. В нынешнем году пошли в кусочки не только дети, бабы, старики, молодые парни и девки, но и многие хозяева. Есть нечего дома, — понимаете ли вы это?»

«...У побирающегося кусочками есть двор, хозяйство, лошади, коровы, овцы, у его бабы есть наряды — у него только нет в данную минуту хлеба, когда в будущем году у него будет хлеб, то он не только не пойдет побираться

ратся, но сам будет подавать кусочки... Не подать кусочек, когда есть хлеб,— грех».

Смотрите, ведь это не полный голод, какая-то другая пища найдется. Но что для русского человека за еда, коли без хлеба? Странно, что за долгие годы, с тех пор как хлеб прочно и неизменно вошел в пищу на Руси, не найдено ему какого-либо заменителя, что ли, эквивалента. Стряпали бы что-нибудь подобное из картошки, из риса, из... А вот из чего же «из»? Кукуруза раньше мало выращивалась, рис — южное растение. Картошка? Можно, но к ней, к лепешкам из картошки, допустим, тоже требуется мучная, хлебная добавка. Вот ведь как.

Недавно зашел я в кафе. Принесла официантка «комплекс» за рубль тридцать — борщ, мясо по-строгановски с тушеной капустой, компот. Скатерть белая, ромашки в вазочке.

— А где же хлеб?

— Да вот не завезли сегодня, машина сломалась.

— Как же?..

— Ну уж так сегодня...

Съел я обед, и борщок хорош, и мясо мягкое, и в компоте — полстакана изюму. А вот не хватает чего-то для полной сытости, для удовлетворения, не хватает, и все. Привыкли мы к хлебу, крепко привыкли.

Умирая, едва ворочая парализованным языком, дедушка попросил покормить его молоком с хлебными крошками.

— Иван Егорович, какие же крошки, не получится ведь у тебя, может, просто молочка, — пробовали уговорить его родственники, дежурившие у постели.

Дедушка мычал, бормотал что-то невнятно, но так, что все же понятным становилось — требовал молока с крошками.

Последнюю волю полагается исполнять.

Не знаю, какой волшебной силой удалось довольно быстро раздобыть кружку молока. Накрошили кусочков. Стали кормить дедушку с серебряной ложки, на черенке которой темнели девичьи вензеля первой жены дедушки. Съев, к удивлению родственников, хлопотавших у постели, три-четыре кусочка с молоком, он закашлялся, слабой рукой сделал отстраняющий знак. И вскоре затих.

И всю-то жизнь человека сопровождает хлеб, то, что было когда-то золотыми зернышками, — от первой вслед за материнским молоком манной каши до последней стопки пшеничной водки, которой помянут его друзья-товарищи, предав земле.

3

В каждом городе — свой хлеб. Бывая в Москве, я всегда покупаю полуржаные кирпичики или усыпанный тмином бородинский; в одном северном городе увидел неожиданные старинные витые крендели; в нашем Свердловске, пожалуй, наиболее популярны круглые пшеничные хлебы из серой муки, называемые в разные годы то украинским хлебом, то столовым, то славянским.

Перенесемся в мыслях в прошлый век, в загородную избу, поглядим с полатей, что там деется, в избе-то.

Не просто испечь хлеб. С вечера ставит хозяйка квашню. Да ведь и сама квашня — не просто месиво из муки, воды и дрожжей. Во-первых, надо знать и чувствовать пропорцию, во-вторых, достаточно посолить, посахарить, добавить яиц, тмина или ванили в зависимости от того, что стряпаешь. В-третьих, квашня должна находиться в таком, говоря технологически, температурно-влажностном режиме, чтобы она не слишком быстро поднималась и не лезла нахально из квашни, с другой стороны — самое плохое, когда тесто не поднимается, вяло живет, не дышит: то ли ему холодно, то ли хозяйка много соды бросила, то ли дрожжи умерли. Тут уж успеха трудно ждать. А ведь как

хозяйка-то волнуется! Завтра семью кормить, да не просто кормить, а по-праздничному — вербное воскресенье на дворе.

За полночь хозяйка встает и прибавляет еще муки, веслом размешивая тесто, которое уже живет и тихонько пыхает. Утром тесто вымешивается, чаще — рукой, для чего молодая хозяйка, конечно, чисто вымоет руки, и кофточку закатает выше локтя, и передник повяжет, чтобы не замучнить наряда. Если тесто хорошо вымешено, то оно отстает от весёлка. Вот тут оно и начинает подниматься, выпирать из глиняной посуды, того и гляди, холстину сбросит и на пол вывалится. Об этом есть даже в одной старинной уральской песне.

У меня квашня
По избе прошла,
По избе прошла.
До дверей дошла.
До дверей дошла,
Двери выставила.
Двери выставила,
Избу выстудила.
А веселочко по сеничкам
Похаживает.
Петух на шестке наговаривает,
Что ушла наша хозяйка
Вдоль по улице гулять.
Вдоль по улице пошла
Воробеюшку искать.

Дальше плетется в песне, как загулявшая хозяйка нашла воробья, выварила его в семи лоточках, поднесла на передний стол Маремьяне-попадье. А та губки сложила бантиком, морду воротит:

Я не ем, не хочу,
Понедельничаю,
Понедельничаю,
Пуще модничаю.

Конечно, замодничаешь, какое же жаркое без хлебushка!

Но в нашем рассказе хозяйка не такая, она справная, домовитая. Вот уж она и печь затопила. Муж и свекровь встали, квас из кадки пьют. Ребята еще спят, пусть, сегодня можно, к пирогам как раз встанут. Вербочки под образом серебристо пушатся. Господи, хоть бы войны-то не было, а то опять, бают, германец с турком нашему царю угрожают. Так думает молодушка, перекатывая тесто, формуя его в хлебы. Она кладет их в глиняные же чашки, тесто расширяется, поднимается. Тесто сегодня крутое, и хлебы небольшие. Большой каравай выпечь труднее: надо, чтобы и середка пропеклась, и края не сгорели.

Сидит хлеб в печи, а молодушка уж подставляет к нему соседей: пирог с соленой капустой да луковый пирог, а за ними пойдут еще шаньги с сушеной черемухой и крендельки сахарные.

Как же узнать, готов ли хлеб, поспел ли? Можно — по легкости. Бывает хлеб легкий, пышный и наоборот — тяжелый, закалый, то, что называется — неудача. Возьмите любую выпечку, ну, например, школьную ситниковую булочку, надкусите ее. По вкусу и запаху сразу чувствуется, удалась ли стряпухе утренняя работа. Посмотрите на надкушенное место: хлебное тело в меру пористое, возле корок нет плотных влажных полосочек, непеченостей. Теперь легко сдавите булочку и ослабьте пальцы, хлебец сам выправится и примет начальную форму. Вот это и есть удача, это и есть легкие хлеба.

4

Давно уже подмечено: самые неожиданные и откровенные разговоры ведутся в дороге. Каждый испытал это: вступишь в вагон, разыскиваешь в толчее свое место, сдержанно киваешь соседям, молча рассовываешь багаж, неловко натягиваешь спортивный костюм... А проходит минут пятнадцать, полчаса, поезд уже набрал скорость, замелькали за окном станционные будки, дымки над уб-

ранними огородами, багряно вспыхнувшие прощально перелески. Проводница разносит сладкий горячий чай в подстаканниках и... вагонной компании не узнать. Кажется, едут вместе давным-давно знакомые люди, а может, друзья, да уж и не родственники ли?

Вот и собралась однажды между полков плацкартного такая мужская компания. Разложили мы на столе у кого что нашлось: и горячий пирог с картошкой (в полиэтиленовой-то пленке сохранил пирожок тепло, что тебе изпод маминой холщевинки), и огурчики по осени малосольные, и колбасу — откуда взялась — твердокопченую, конечно же обязательную в дороге жареную курицу, ну и остальное, по потребности. Разговоры велись удивительные: о семье, о детях, о том, как в мире тревожно, о том, что у нас дома, в России-матушке, неладно получается и, конечно, как все это дело быстро поправить... Не по теме здесь передавать все беседы, байки, анекдоты, споры двухсуточные. А вот когда о хлебе пошло — в самую точку в повествование записалось.

Дело в том, что один из наших попутчиков, Кузьма Иванович, молодой, крепкий старик с васильковыми глазами на загорелом лице, начал разламывать на купейном столике пшеничный подовый каравай. Разламывает он пышный поздреватый хлеб, а в хлебе-то белеют яички, в скорлупе запеченные.

— Вот сродственнички жены в дорогу снарядили, — как бы стесняясь, говорит Кузьма Иванович, — так продукт не брал, они в хлеб запечь сподобились...

Сознаюсь, повествование мое к этому времени уже сложилось и даже на машинке было отпечатано, да вот все чего-то, чувствовал, в нем не хватает, ведь многое в нем о военном и послевоенном времени, а как там было, на фронте, с хлебом-то насущным? А тут и этот каравай сибирский, и другая стряпня домашняя, и трое моих попутчиков, бывших фронтовиков, и беседа наша застольная, душа нараспашку...

Рассказ Николая. А что о ём говорить — хлеб он и есть хлеб, он что тебе родной батя. Нет хлеба, нет опоры, нет сытости. Сытости нет — какой солдат? Мой дед, ходивший в прошлом веке на турка, частенько говаривал: «Отчего солдат гладок? Как поест, так и набок». Ну нам, к примеру, на боку-то не часто приходилось, но питали на фронте, надо признать, неплохо, не обижали, нечего бога гневить, заботился командующий, по норме выдавали. Так ведь, братцы? Ну вот я и говорю... Конечно, не такой бывал хлебец, как у нас на столе, о таковом вспоминалось только, но была мерка довольная, не то что в тылу, где, случалось, норма-то только в карточных клетках и числилась... Так что, чего о нем, о фронтовом хлебе-то?..

Однако был со мной, братцы, случай, когда делили, поверите ли, крохи хлебные меж собой делили...

Попали мы тогда в окружение, сдуру, большим числом попали. Таким большим, что и немец на нас толком идти не отважится. Однако и из круга не пускает, разрезал нас на группы, пулеметным огнем лунит, день и ночь начеку. А основные наши части, видать, отошли. Отойти-то отошли, дак ведь и нас недосчитываются. Слава богу, батареи в радиации еще еле дышали, отстучал радист: так, мол, и так, находимся, дескать, в квадрате у речки Черемушки.

Ждем. День ждем, два ждем. Делаем попытку самостоятельно из окружения выйти. Куда там! Товарищей теряем, патроны кончаются. Отходим в леса и болота. Снег, лед, чащоба. Одиннадцатые сутки на исходе. Падать пехота начала.

Я держусь, на пределе сил, но держусь, товарища еще Андрюху Комлева взбадриваю, корой его сосновой кормлю, уши снегом оттираю. Чую, братцы, и самому боле не вмоготу, самого впору кто бы потащил. Прощай, говорю, Андрюха Комлев, укроют тебя снегом, снежок-от наш русский навроде шубы дополнительной. Вот, держи, говорю,

последний сухарь черный, жди нас здесь, протыримся через вражескую линию, тогда и тебя, Андрюха, вытащим, а замерзнешь — схороним честь по чести. Прощай, говорит Андрюха, хочет обнять меня, не может, только сухарь последний за пазуху прячет. Жить, стало быть, собирается, надеется, значит, — отыщем его. Тут собирает нас младший лейтенант, сам едва на ногах держится, нам, однако, приказывает построиться. Какой уж тут строй?.. Собрались все-таки, большинство в строю сидя стоит, однако оружия из рук не выпускаем.

— Товарищи бойцы, — сказал лейтенант. — Что же это мы подобно тараканам расползлись, негодно нам товарищей на снегу оставлять. Приказываю: держаться тройками, будем пробираться к озеру Черному, за ним, по моим соображениям, деревня расположена. Надо надеяться, радист наши координаты примерные указал.

Двинулись мы, кто как мог, через снежную поляну, к озеру Черному. А что там, за озером, бог его знает, может, тоже немец стоит, может, и деревня-то давно сгорела. Андрюха Комлев обратно мне сухарь возвращает, тащим мы с ним друг друга, то он меня, то я его.

— Слышишь, — поднял он лицо к небу, — слышишь, наши летят.

— Блазнит тебе, — не верю я, — в бреду ты, — говорю, — рядовой.

Однако и сам рокот слышу. А небо-то мутно, снежинки летят. Видим, над соснами наш ведь кукурузник со звездочками. «Ура! — пытаемся кричать. — Ура!»

Сбросил самолет три мешка один за другим, улетел. Один мешок прямо к нам на поляну бухнулся, чуть меня не пришиб. Другой, сколь ни искали, как под землю провалился. Третий же — на высокой сосне застрял. Лейтенант назначил помощника и мешок с сухарями наказал ему держать при себе, выдавать — по команде. Ну а тот, на сосне-то, трое пробовали достать, куда там, ослабли. Лежим под сосной, глядим на мешок. Решили сучки ав-

томатной очередью срезать. Пальнул наш один, бесполезно. Вновь строчит. Крепко мешок заценился. Снова очередь дал и прошил тот мешок. Крошки сыплются, помню, на снег, сыплются. А мы их в рот, в рот...

Николай замолчал надолго, в окошко смотрел, губами шевелил, будто те крошки жевал.

— Ну и как, отыскали вас?

— Не помню, в жару был...

— Ну а у вас, Кузьма Иванович?..

— А что у меня, было всякое.

Кузьма Иванович больше слушать любитель. Но и он гладит щеку, хитро как-то поглядывает, видно, и ему хочется слово сказать.

Рассказ Кузьмы Ивановича. Хм, неподходящ мой, наверно, рассказ. Почему? Да вроде он и про хлеб, а может, совсем и про другое... В общем, женился я, хм, за буханку хлеба. Лежал я в госпитале. Влюбился в сестричку. Вижу, и я ей глянусь. А за ней — один выздоравливающий ухлестывает. Я-то знаю, мне она — навсегда, а ему — на денек. Но у него преимущество, он ходячий, то букетик сирени, то к чаю — сахарку. И вот, ночь была, она за дежурную в своей каморке сидит. Не сплю я, переживаю, за соседом слежу, если встанет... Слышу, и ён не спит, притворяется токо спящим-то.

— Слышь, сосед, — говорю, — отступись от Аниуты.

— Как это?.. Может, у меня сурьезные планы.

— Не сурьезные, вижу, а мне... Мне она во как нужна, я жениться на ёй обещал. Ты ведь молод, отдай мне ее, а я тебе — вот, хошь, хлеба буханку.

— Возьму, — говорит, — только потому и беру, что вижу — у тебя не простое на сердце. А буханка мне во как нужна! Меня в отпуску пять ртов дожидают.

Поверите ли, до вас никому не рассказывал, в поселке меня высмеяли бы...

...Вот и живем мы с Анной Андреевной, почитай, сорок с гаком. А тот? Не, не знаю. Живой, наверное, могучий и бойкий был парень. Старуха порой попрекает меня: мол, скупил за буханку, а то бы... И фотку его бережет. А любит меня!

5

Синие сумерки плыли над тыловым городом. Трамвайное кольцо на улице Щорса оживлялось звонками первых утренних вагонов. Они выползали из парка, медленно, полусонно потягивались, потом убыстряли бег, давали вдруг резкий звонок и бежали уже ладно и уверенно в очередные трудовые будни. Некоторые вагоны отличались от своих собратьев внешним видом. Наверху, на крыше, у них была какая-то надстроечка, а у дверей деревянные ручки в медных держателях были тоньше и выступали наружу. Эти красные вагончики были как бы изящней и элегантней по сравнению с компактными, но упрощенно-тяжеловесными уральскими трамваями. Мы-то знали — красные вагоны, еще недавно обгорелые, инвалидные, были доставлены в наш город из Ленинграда. Рабочие депо отремонтировали их, и вот они вышли на свердловские линии, чтобы снова трудиться вместе со всеми.

Очередь возле углового хлебного магазина, протянувшаяся чуть ли не от 3-й девичьей школы мимо двух домов со ставнями, мимо керосиновой лавки и завершавшаяся на высоком деревянном крылечке у входа в магазин, зашевелилась, загомонила: скоро магазин откроется. Но до открытия еще целый час был. И снова люди притихли, спрятали носы в воротники и отвороты телогреек, кое-кто и задремал.

Шум возник у самых дверей в магазин. Что-то там происходило непонятное — крики какие-то, не то плач, не то хохот. Бабы, стоявшие возле керосиновой лавки, подались вперед: что там, что такое? У дверей магазина

возвышалась фигура Васи-пьяницы. На голову он для порядку напялил милицейскую фуражку с околышем. Этот Вася всем осточертел, вечно он ошивался на толкучке, возле пивнушек, вот и сегодня взялся за очередью наблюдать, авось ему чего-нибудь отколется, кому-нибудь хлеба без очереди возьмет, троячок заработает, а может, кто деньги потеряет... И откуда только брались такие? Вроде здоровый мужик, ему бы на фронте быть. А он — в тылу, да еще чуть не каждый день пьяный. Может, его идиотом признали, а может, он где-нибудь по блату броню раздобыл.

И вот перед открытием магазина вдруг появилась у крыльца Маруся, Васина сестра.

— Вася, иди-ко сюда.

— Чо тебе надо, иди сама.

— Вася, ты взял карточки?

— Каки карточки?

— Да наши карточки! Ты взял? Больше некому.

— Чо-чо-чо? А ну, иди отсюдова, не брал я ничего!

Тут и началось-поехало. Маруся в слезы. Вася на нее — матом. Маруся упала на колени.

— Вася, миленький, отдай карточки, ведь ты всю семью без хлеба оставил, побойся бога, отдай.

— Уйди, сука, отсюдова, — пихнул Вася сестру.

Тут уж бабы не выдержали. Они с воем бросились на Ваську и оттеснили его к стене.

— Да что там говорить, конечно, он взял, — кричала маленькая бойкая тетка, — вон с утра нализался, откуда у него на выпивку деньги?

И тетка клеенчатой сумкой съездила Васе по морде. Он было кинулся на нее с кулаками, но тут же отступил, десятки сумок замелькали в воздухе, колошматя его по башке и по спине. Брызгая слюной и матерясь сквозь зубы, алкоголик сбежал. Стало тихо. И только слышно было, как всхлипывает и причитает Маруся.

Бабы уговаривали ее не плакать, пойти халтурить на

мельницу, там зерном и мучной пылью рассчитываются.

За этими разговорами не все сразу услышали пегромкий голос женщины в черных чулках, с потертой заячьей муфтой в руках. Лицо ее было худое и желтоватое, а ресницы такие огромные, что казались ненастоящими. Ее мало кто знал на загородных улицах. Это была эвакуированная Екатерина Львовна. У нее была дочка Катя-маленькая, девочка с такими же лохматыми ресницами. Она стояла рядом со своей матерью и брякала связкой больших и маленьких ключей. Эти ключи вместе с небольшим узлом домашнего скарба они успели положить с собой при эвакуации. Позднее узнали, что поселок, где они раньше жили, полностью разбомблен. И их дом сгорел от зажигалки. Но девочка не давала выбросить никчемные теперь ключи и всегда держала их при себе, то ли как игрушку, то ли как память о родном доме. И вот Екатерина Львовна сказала:

— Товарищи женщины, скоро уж конец войне, жить станет лучше. Давайте поделимся, кто может, с этой женщиной, ведь она — мать!..

И вот бабы, и старушки, и инвалиды стали подходить к Марусе и отрывать ей от своих карточек по одному-два талона. Маруся так растерялась, что даже не знала, что делать, — благодарить ли людей за помощь или дальше проклипать своего алкоголика брата. Екатерина Львовна приняла талончики, сложила их в стопочку, поблагодарила очередь и подала эту сборную карточку Марусе. Тут и магазин открылся, ее пропустили вперед. А продавщице объяснили, что произошло и почему у Маруси только талоны, а не целая карточка, которую полагалось заверять печатью. Продавщица поохала вместе со всеми и все, конечно, поняла. Катя-маленькая упруго, как воробей, прыгала по снегу, брякая своими ключами.

Откуда они были, эти эвакуированные мать с дочерью — из-под Ленинграда, Москвы, Винницы, — вылетело из головы. Много их тогда было на Урале. Расселились

они тогда в квартирах уральцев и стали жить все вместе, дожидаясь победы. Работали, снаряды делали, собирали танки, шили маскхалаты, хлеб пекли. Все для фронта — все для победы. Игрушки уральских детей стали игрушками эвакуированных, одежда ушедших на фронт пришлась по плечу беженцам. Нет, так их никто не называл. Эвакуированные. Не бежали они, а прибыли к своим. Некоторые и навсегда осели на Урале, обретя здесь вторую родину. Но это — особая тема.

Вот что вспоминается мне, когда я гляжу на старую неотоваренную хлебную карточку с лиловым штампом магазина и черными по желтому словами: «хлеб — 200 гр.», «хлеб — 200 тр.». Но пусть читатель не подумает, что в трудные годы войны бились люди за один хлеб. Есть такая мудрость: «Не хлебом единым». Не одной краюшкой хлеба и родной сестрой его, уральской картошкой, жил человек. Надежда светлая вела его по жизни, труд во имя правой Победы поднимал по тудку в заводские цехи, фабрики и артели. Надежда эта даже в холоде-голоде давала людям улыбку и песню. Вот и сейчас: я дописываю это повествование, а на улице весна, майские дни, деревня Кашино вдоль ольховой речки Сысерти. Идет по улице Юра-электрик, наяривает на гармошке. Рядом — высокая, статная и румяная Нюрка, супруга электрика, мелко дробит она лакировками по свежей травке, и поет Нюра частушку из тех давних и близких дней:

Ой, гармошка-матушка,
Не надо хлеба-батюшка.
Под гармошку попляшу —
Хлеба больше не хочу!

Я и говорю: не хлебом единым, а все же как тактично, уважительно и ласково в частушке-то сказано: хлеб-батюшка.

Юрий
Рязанов

«ЯСТРЕБОК» ГЕРОЯ



ЗАМАЗКА

В Челябинске на этом месте стоит громадное многоэтажное здание. А в те годы простиралась базарная площадь. Проходя мимо высокого и просторного, как танцевальная площадка, крыльца или поднимаясь на массивные, розового гранита ступени, я иногда вспоминаю историю, которая приключилась со мной здесь летом сорок третьего.

...Уходя на работу, мама оставила записку: «Гера, пойд на базар и купи кусок мыла. Деньги завернуты в платок, не потеряй». В узелке обнаруживаю сто пятьдесят рублей. Для нашей семьи это большие деньги, месячный заработок мамы — восемьсот рублей. Тратить деньги приходилось очень экономно и в основном — мне. Деньги хранятся в незапирающемся шкафу в пустой стеклянной сахарнице вместе с продуктовыми карточками.

Ежедневная выкупка хлебного пайка и отоваривание карточек в магазине, где мы прикреплены по месту жительства, — моя забота.

Маму мы со Стасиком не видим неделями. Она уходит на завод — мы еще не проснулись, а возвращается — мы уже в постели: набегавшись за день до изнеможения, спим.

Когда она отдыхает, не знаю. Наверное, никогда. Потому что ночью успевает выстирать нашу одежонку, заштопать чулки и, хоть из чего-нибудь, сварить еду на следующий день.

Правда, по дому мы сами управляемся: моем пол в комнате, стираем пыль с мебели, зимой топим печь и выполняем нехитрые, но ответственные поручения. В магазинных очередях надо стоять терпеливо, иногда по много часов, потому что неожиданно устраиваются коварные пересчеты и на ладонях ставятся химическим карандашом новые номера. Был я пацан очень подвижный. За-

играешься — вернешься домой с пустыми руками. Знавал я и эти великие огорчения. А забота о хлебе — только моя обязанность. Стасик — еще малец, а я — уже взрослый, в мае исполнилось одиннадцать. И я могу постоять за себя и братишку.

...На базар отправляюсь вместе с братом. По раскаленным булыжникам пустынных улиц бежим, взявшись за руки.

Радостное, необъятное утро, наполненное звонким щебетанием птиц, только началось, а камни тротуаров успели раскалиться так, что жгут подошвы босых ног. Необыкновенно жарким, знойным выдалось лето сорок третьего.

Вот он, базар, — бурлящий, бушующий мир, зрелище — интереснее не придумаешь. Продираемся сквозь мешиво толпы, сами не зная куда. Никакая волшебная сказка — а я их прочитываю книгу за книгой, без передышки, подчас и про уроки забывая, — не может сравниться с тем, что здесь увидишь и услышишь.

— Папиросы «Метро», — кричит подросток-оборванец возле ворот. — Папиросы «Метро»! По дешевке отдаю! Три рубля штука, пять — пара!

От ворот вдоль забора сидят и стоят торговцы самосадам-крепачком. Пробираемся мимо. Останавливаемся лишь возле старика — лешего, заросшего дикой бородищей настолько, что волосы, не уместаясь на лице, торчат пучками, выпирают из ушей и ноздрей.

Леший умеет похвалить свой товар, от которого дыхание спирает и слезы выжимает даже у завзятых курильщиков.

— Самосад — ядрец, затянешься — и конец! Красненькая за стакан. С походом на козью ножку даю! Самосад — что водка, прочищает кишки и глотку!

Дед оглядывает нас, разинувших рты, желтыми, прокуренными глазами и шикает:

— А ну, кыш отсюдова, мелюзга карапузая!

Худющий, высокого роста старик, неподвижный, с большим кадыком, почему-то напоминающим мне гирию настенных ходиков, хрипло вещает:

— Лечение ревматизмы и прочих болезней целительным лектотоком по методу французского профессора Шарко. Пять рублей сеанс. Полный курс — десять сеансов. Анвалидам-фронтотикам — льготный тариф.

Слева от старика возвышается привинченный к штативу лакированный деревянный ящик с застекленным экраном. Красная стрелка уткнулась острием в большой ноль. Над цифрой не очень искусно нарисованная картина изображает богатыря с лихо закрученными усами и прилизанной, на пробор, прической — невиданно важный гражданин. То ли это портрет французского Шарко, то ли самого владельца чудодейного аппарата в молодости, то ли бывшего «анвалида», принявшего полный курс по льготному тарифу. Спросить не решаюсь, робею — все это так захватывающе и таинственно. Глаза старика закрывают синие круглые очки в железной оправе. Они придают лицу непроницаемость и строгость.

Какой-то счастливчик бросает целителю червонец. Сразу за два сеанса. Как за море с двойной порцией сахара. Разувается и становится на подобие деревянных сандалий, обитых снаружи ярко начищенными пластинками из желтой меди. В руки берет такие же сияющие пары, соединенные, как и сандалии, проводами с нутром волшебного ящика. На боковой стенке аппарата — ручка и полукруглая шкала с цифрами. Стрелка пляшет, щекочет усатого Шарко. Толпа стискивает кольцо. Старик трубно изрекает:

— Осади! Аппарат заряжен!

Предупреждение действует. Все оживленно обсуждают происходящее.

— Что ощущает пациент? — вопрошает старик с достоинством циркового конферансье, и кадык-поршень движется вверх-вниз, выталкивая скрипучие слова.

Пациент натужно улыбается и просит:

— Ничиво! Поддай ишшо, на весь червонец чтобы, без сдачи...

Старик «поддает». У счастливика испарина выступает на лбу, а глаза вытаращиваются. Но он терпит, твердо решив принять целебного электричества на всю десятку — до копейки.

— Ну как, помогает? — спрашивают пациента.

— Пр-р-робирает, едри ее в корень, — выдавливают из себя пациент.

Сеанс окончен. Пациент утирает лоснящуюся физиономию рукавом рубахи. Усевшись на пыльную землю, чтобы обуться, улыбаясь, сообщает:

— Ох и пробрало. Аж в заду свербит!

Все смеются, довольные шуткой.

Только владелец чудесного аппарата сохраняет невозмутимую торжественность. Он обеими руками ощупывает врученную следующим пациентом пятерку и засовывает ее за пазуху. Да он слепой! Ну и ну...

Вот если бы у меня, мечтаю я, вдруг разыгрался жуткий ревматизм или «протчие» болезни! Исцеление — вещь, несомненно, приятная. Меня озадачивает другое: старик одет в порыжевший суконный сюртук, застегнутый до самого кадыка на разные по размеру и цвету пуговицы, в латанные брюки и в... валенки.

Видать, от ревматизма шимы помогают слепому другу профессора Шарко лучше, чем таинственный аппарат.

И все-таки электрический ящик здорово интересен. Узнать бы, что там внутри, в чем электричество хранится. Однако есть кое-что на базаре еще привлекательней. Книжки! Вообще-то их я беру в детской библиотеке. Или «глотаю» их в читальном зале. Но здесь такое можно увидеть, чего в библиотеке днем с огнем не сыщешь. Например, тоненькие книжечки приключений знаменитого сыщика Ната Пинкертона, безумно интересные журналы «Всемирного следопыта» с фантастической пове-

стью Беляева «Продавец воздуха», с рассказами о загадочном Тунгусском метеорите и много, много других драгоценностей, заветней которых нет на свете ничего.

Но сейчас нам не до книг. Хотя и мелькнул в людском водовороте знакомый, небольшого ростика лысый старичок — торговец «беллетристикой».

Очень много повсюду встречается стариков, старичков и старикашек. До войны их было меньше. Старух, конечно, тоже хватает. Особенно — в магазинных очередях. Война! Все, кто может сражаться, ушли на фронт. Он находится где-то недалеко. Мы это живо ощущаем здесь, на Южном Урале. О фронте напоминают школьные подвалы — бомбоубежища, крестообразно наклеенные на оконных стеклах бумажные полосы, заросшие лопухами обезлюдившие дворы, звездочки сплошь на воротах и домах тихих улиц, словно прислушивающихся к чему-то, настороженных, ожидающих.

Мальчишескую фантазию подстегивают трофейные фляжки и котелки, даже кастрюли, сделанные лудильщиком дядей Яшей из немецких рогатых касок. Видел я у ребят и настоящие фашистские военные ордена — кресты со свастикой, отобранные у битых оккупантов под Москвой и Сталинградом.

Не только ежедневные радиосводки Совинформбюро из черного круглого «Рекорда» рассказывают мне о войне, у нас, пацанов, свое ощущение громадной беды, навалившейся на страну. Совершенно серьезно и я тоже собираюсь на передовую, где день и ночь идут сражения, где падают подкошенные меткими пулями ненавистные фашисты. Точно такие, как на плакатах Окон ТАССа — безобразные гориллы с паукастой свастикой на рукаве, не очень-то и страшные.

О своем заветном намерении братишке я не проговорился ни разу, хотя он тоже собирается на фронт. Я-то понимаю, что его задумка несерьезна. Он и автомат-то не поднимет, слабак. Уж не говорю о «максиме», люби-

мом по кинофильмам и, по-моему, самом грозном виде оружия.

На брата я надеюсь в другом. Он должен заменить меня дома. Конечно, ему не нравится, когда я заставляю носить воду из колонки на коромысле, понемногу, по полведра, поливать огородные грядки, мыть пол и посуду.

Много им пролито слез. Но Стасик — последний мужчина в нашей семье. Маме без помощи, понятно, не справиться. Поэтому-то и приучаю его к самостоятельности, готовлю — срочно! — замену себе.

На фронт мы задумали сбежать вдвоем (с корешом из соседнего двора, Юркой). Но об этом — другой рассказ.

...Мы прочесываем базар вдоль и поперек, но мыла не находим. Без Стаськи я шустрее все обежал бы, да не бросишь братишку-то. Так и буравим густую толпу — впереди я, он — следом, вцепившись в мою ладонь. В другой крепко зажат платочек с тремя синими пятидесятирублевками. Чтобы не вытащили, не вырвали. Неожиданно мы оказываемся возле павильона вблизи от выхода на улицу Елькина. В нем продается разная снедь: топленое молоко в бутылках разного роста — от чекушек до четвертей. Топленое молоко желтым маслом застыло у горлышка; шоколадными пенками манит варенец; румянятся пирожки с ливером; глаз не отведешь от поздреватого пшеничного хлеба буханками и нарезанного на куски; молочные тянучки и божественные маковники — этакие белые и серые комочки и валики с палец толщиной, по пятнадцать рублей пара.

Появляться возле павильона — его нарекли обжоркой — со Стаськой нежелательно. Он сразу же начинает канючить, кланча купить что-нибудь. То бутерброд ему приглянется с настоящим сливочным маслом, то разварной картофель в крынке, увязанной в старую телогрейку, чтобы не остывал, то американская консервированная колбаса пластинками, до того соленая, что от колонки хоть не отходи, — от покупателей слышали; то морсу с

сахарином, видите ли, он попил бы — не учитывает человек, что деньги можно тратить лишь на самое необходимое. На вязанку дров, например, или на керосин, который продается, как молоко, бутылками, заткнутыми газетными пробками. Керосин по молодости лет его не интересует. Ему даже забавнее, когда мы вечерами для освещения жжем лучины над тазом с водой. Электричество нужно заводам. На заводах делают снаряды и танки.

Возле «обжорки», чего я и опасался, Стасик уперся и заревел горючими слезами, когда увидел прилавки, заставленные и заваленные яствами. Я ничего не могу с ним поделать, уперся, и все.

Вдруг раздается истошный вопль. Женский. Толпа тяжело переваливается к месту происшествия. И мы — туда же.

— Украли! Держи! — пронзительно орет испуганная баба с обезумевшими глазами на толстом лице.

Одной рукой она закрепощено держит небольшую корзину с пончиками, другой вцепилась в лохмотья заросшего грязной щетиной, наголо остриженного, невероятно исхудавшего мужчины, который и не пытается сбежать.

Он закрыл лицо ладонями, а торговка, не спуская глаз с корзины, повизгивая, бьет его по голове и рукам, и я вижу — он что-то запихивает в рот.

Впалые глаза у стриженного мужчины неподвижны и словно стеклянные. Его бьют, а он продолжает есть.

Из толпы выскочил парень в надвинутой на глаза кепке и одним ухарским ударом поверг незадачливого вора наземь. И, пиная его, приговаривает: «Ух! Ух!»

А лежащий все равно жует, давясь и хрипя.

— Дяденька, не надо! — кричу я что есть силы, а Стасик, держась за меня обеими руками, ревет еще пуще — от испуга.

Избивающий застывает с воздетым кулаком и повертывается ко мне. У меня от неожиданности подкосились

поги — он улыбается! Во рту его блестит стальная коронка. Или хищная слюна.

— Ах ты цуцик! — негромко произносит он и замывается на меня. Руки мои сами собой инстинктивно взметнулись над головой, а глаза зажмурились. Стаська рванулся с воплем в сторону и повис на ком-то, это я еще успел увидеть.

Но удара не последовало. Когда я разомкнул веки, то передо мной предстала такая картина: руку улыбчивого истязателя сжимает другая рука, в белесом обшлаге гимнастерки.

Мой спаситель стиснул запястье ухаля с такой силой, что зажатый кулак стал лиловым.

Человек в солдатской гимнастерке цедит, не разжимая зубов:

— Не тронь детей, мерзавец.

— Ты чево, чево? — растерянно повторяет обидчик, оглядываясь. — Псих, что ли? Невменяемый, да?

И неожиданно тонким голосом верещит:

— С ним заодно, да? Из одной кодлы, да? — и показывает на лежащего, который корчится в пыли то ли от побоев, то ли от тошноты. Не пошел ему впрок торговкин пончик.

— Заткнись, паук тыловой, — спокойно произносит человек в белесой гимнастерке и с отвращением отталкивает парня.

Во второй руке этого невысокого плечистого человека вижу трость, на которую он опирается. Трость, набранная из разноцветных полированных колечек оргстекла, выглядит увесистой. Обидчик мой, матерясь, пятится, призывает толпу помочь ему расправиться с человеком в солдатской форме. Раздаются угрожающие выкрики — откуда-то из-за спин. Но вперед выступает еще один человек, одетый в такие же выдавшие виды гимнастерку, галифе и ботинки с обмотками. В руке у него пара новых байковых портянок и пачка махорки «Смерть фашистам!».

На гимнастерке, слева, нашиты цветные матерчатые полоски — две красных и одна желтая.

— Раненые, раненые, — разнесится в толпе. — Фронтовики...

— Что тут такое, браток? — спрашивает он моего спасителя.

— Да вот, один подонок самосуд устроил, — отвечает он, и я вижу, что на его гимнастерке помимо новенькой медали и гвардейского знака тоже желтеют две полосочки.

Я уже обнимаю за плечи зашедшегося плачем братишку. Мы оба изрядно испугались. Я — не так угрозы обидчика, как враждебности толпы — на нас глазело столько свирепых морд.

Обидчик исчез, будто его самого слямзили. Но продолжает кудахтать торговка пончиками, прикрыв на всякий случай корзину широким подолом длинного платья.

Она зло поносит человека с тростью. Требуется уплатить за пончик.

Но раненый не обращает внимания на ее слова. Сильно припадая на правую ногу, он подходит к лежащему на земле. Тот не встает. Наверное, у него просто нет сил. Да жив ли он? Пола куртки задралась, обнажив шелудивое тело с ребрами, напоминающими прутья раздранной корзины. Глаза по-прежнему невидящие, остекленелые. Только лицо — мокрое. От пота или слез.

Мне становится не по себе. Схватив Стасика, я устремляюсь почему-то к дальним воротам, выходящим на улицу Кирова.

Стасик перестает хныкать и лишь твердит:

— Хочу домой, домой хочу...

Побродив по запущенному скверу с огромной чашей бездействующего фонтана, мы снова входим на базарную площадь, оглашаемую разноголосым шумом.

Ничто не напоминает о недавнем происшествии. Как будто и не случилось ничего.

Старик с ящиком француза Шарко замер на том же месте и в той же позе. Страшный человек с белыми от голода глазами куда-то исчез. Гомон, переругивания, выкрики.

Нашли торговку мылом! Она запомнилась мне на всю жизнь, хотя внешность ее на редкость невыразительна. Курносое широкое бабье лицо, засиженное веснушками. Разве только — глаза. Впрочем, их я рассмотрел и запомнил после.

Как я обрадовался, увидев в пухлой, не очень чистой руке брусок хозяйственного мыла! Не самоварку, а с фабричным треугольным клеймом.

Торговка не тараторит, как некоторые, складные словословия, нахваливая свой товар, а с достоинством, молча показывает его.

На вопросы, что-де за мыло, хорошее ли, с презрением и неизбывным хамством рыночного завсегдатая швыряет:

— Разуи, тетка, глаза! Довоенное, ядровое, двести пятьдесят.

Цена, возможно, и соответствует товару — брусок большой, не срезанный и не обскобленный. Хотя столько же стоит и маленькая буханочка ржаного хлеба. Мыло на солнце просвечивает, словно соты, полные меда, или отцовские янтарные золоченые запонки, променянные весной на ведро семенной картошки.

С тоской люблюсь мылом, даже не пытаюсь рядиться, — такой неприступной выглядит хозяйка.

Она сама предлагает:

— Ну, хлопец, налетай, покупай, чего зыришь? Гроши есть?

— Есть.

— А ну, покажь.

Убедившись, торговка, почему-то настороженно поглядывая по сторонам, тихохонько говорит:

— Мало. Еще гони сколь-нибудь.

У меня в потайном месте, в поясе штанов, хранятся накопленные «фронтовые» двадцать три рубля. Они, как я рассудил, могут понадобиться в нелегком пути на передовую, пока на армейский паек не зачислят.

Поразмыслив минуту, прихожу к выводу, что еще далеко не все железяки сданы в ларек утильщика дяди Левы. Этого добра еще таскать не перетаскать. И с большими трудностями извлекаю туго скатанные в рулончик двадцать три рубля.

Торговка теперь обращается со мной более почтительно. Но глаза ее, совершенно неуловимые, словно ощупывают всего. Она убеждает меня, что почти даром отдает. В доказательство плюет на указательный палец и натирает им грань бруска. Сразу появляется белая пена.

— Не мыло, а сахар. С чаем бы съела, да деньги надо. Само моет.

Мне так нестерпимо хочется купить для мамы это изумительное довоенное мыло, что я теряю способность говорить, а лишь неотрывно гляжу на торговку и на чудесный янтарный брусок.

— Я бы тебе уступила, миленок,— сожалеет торговка,— да мужик мой, изверг, вон стоит, буркалы пялит. Убьет, ежели продешевлю.

Оборачиваюсь в ту сторону, куда кивнула торговка, и мне мерещится, что за спинами людей прячется тот, кто, улыбаясь, недавно истязал несчастного стриженного.

Наверное, тот изувер и есть ее мужик. Мне жаль добрую женщину, ведь он с ней может так чудовищно поступить.

В этот момент торговка, словно в нерешительности, вынимает из плетеной сумки тетрадный лист, лощеный, хрустящий, и тщательно упаковывает в него кусок мыла. Оглянувшись, протягивает его мне, но тут же отдергивает руку и бросает сверток в кошелку. Не иначе, мужика своего заметила. И, глядя мимо меня, приставляет палец к губам: тс-с!

Вот тут я впервые вижу ее глаза. В их глубине играет хитрая усмешка.

Торговка сует мне пакет и выхватывает деньги. Помусолив палец, она в мгновение пересчитывает купюры и ныряет в толпу.

Подхватив Стасика, мчусь домой. Все во мне ликует. Вот мама будет довольна, вот будет радешенька!

В тот вечер, преодолевая усталость, беспрерывно натирая кулаком слипающиеся глаза, дожидаясь возвращения мамы с завода.

Вот она отпирает дверь своим ключом, бросаюсь навстречу.

— Что случилось? Почему не спишь? — с тревогой спрашивает она. — Письмо пришло?

Мама панически боится писем. Вернее, одного, какого-то «казенного» письма, о котором ей мимоходом сказала пришедшая цыганка.

Когда приносят отцовские треугольники со штампом полевой почты, даже тогда мама бледнеет и долго не может прийти в себя.

— Нет, да нет же, не письмо, — торопливо отвечаю я и достаю из-под нашей со Стаськой подушки тяжелый пакет. От радости не подумал, почему он такой тяжелый, ведь довоенное мыло должно быть усохшим, легким. Тяжелый брусок приятно волновал меня именно своей весомостью.

Устало опустившись на табурет, мама разворачивает хрустящий лист в клеточку, исписанный невообразимо красивым почерком и оценкой «отл», выведенной красными чернилами таким же почерком.

— Довоенное, ядровое, само мылится, — выпаливаю я, не в силах сдержаться. Я весь напрягаюсь от счастья, от предвкушения маминой похвалы.

Но во взгляде ее — недоумение.

Она встает, подходит к столу, вывертывает побольше фитиль трехлинейной керосиновой лампы, внимательнее

разглядывает мыло и... закрывает глаза подрагивающими пальцами. Она плачет.

Ничего не могу уразуметь и продолжаю улыбаться. Но жгучая тоска, приступы которой я испытывал маленьким, когда меня оставляли одного в запертой комнате, эта тоска сжимает мне горло.

Пытаюсь спросить, почему она рыдает, что случилось, но не могу.

Боль, которая мучает маму, передалась и мне.

— Мам, а мам, кто тебя обидел?

— Никто, — тихо отвечает она, утирая полую кофты слезы. — Укрой Стасика, а то он замерз.

И выходит в общий коридор, захватив с собой и мыло. Стирать, наверное.

Но мама тут же возвращается и спрашивает:

— Сколько отдал?

— Сто семьдесят три.

Проговорился. Ведь те двадцать три рубля — секретные.

Она дует в пузырь лампы, в темноте раздевается, и в комнате становится очень тихо. Я успеваю подумать, что в чем-то, наверное, провинился, что-то тут связано с мылом, но быстро, как на качелях, проваливаюсь куда-то в мягкое и уютное, открываю глаза — уже утро.

Вижу мамину аккуратно заправленную постель.

Комнату наполняет та же звенящая тишина, только легонько сопит Стаська.

Спрыгиваю на пол и бегу умываться.

Мыла на рукомойнике нет. Осматриваю все — тщетно. Случайно замечаю угол знакомого тетрадного листа — в ведре для мусора. И мыло — тут же. Как туда оно попало?!

Вынимаю. Разворачиваю прилипшую промасленную бумагу. Но это что-то совсем другое! Не мыло! Мягкое, темно-зеленое, вязкое. И вовсе не пенится.

Выходит в коридор соседка, сгорбленная в дугу бабка

Герасимиха. Спрашиваю у нее, что же это такое.

Бабка долго мнет меж пальцев похожее на глину вещество, нюхает и наконец шамкает:

— Жамашка, мил шын. Окна жамаживать на жыму.

Не верю. Но постепенно до меня доходит, что всучила вместо мыла торговка. Все во мне негодует. Перед глазами — мамины горестные глаза, подергивающиеся плечи.

Я чуть не кричу от ярости, обиды, бессилия. И жалости. Нет, не к себе. К маме.

...За весь путь до базара не произношу ни слова, только, задыхаясь, «буксирую» за собой Стаську.

Во второй руке у меня зажат вязкий ком.

Не знаю, как поступлю. Одно желание владеет мной — разыскать вчерашнюю торговку.

И я нахожу ее.

Заметив нас, она шарахается в сторону. Но тут же успокаивается: кого ей бояться?

Неотрывно смотрю ей в лицо и не могу поймать взгляд, расплывчатый, скользящий мимо. Сейчас я ненавижу эту женщину больше всего на свете. Даже кровожадный фашист, самое страшное чудовище на земле, уступает место этой упитанной, может быть, даже красивой женщине.

Подхожу и требую:

— Отдай мыло!

Но она уже полностью владеет собой.

— Какое мыло? Чего пристаешь, ширмач? Канай отсюдова...

Как я дотянулся, не знаю, но тяжелый кусок замазки вмиг запечатал левый глаз мошенницы.

Взвыв, она хватает свободной лапищей шиворот моей рубахи. Слышится треск разрываемой ткани.

Стасик пытается оттащить меня, заревев, конечно.

Но я не могу совладать с яростью, молочу кулаками что-то мягкое, податливое, словно подушку, и впиваюсь зубами в самое ненавистное на свете существо.

Мне досталось, конечно, больше, чем ей, но терплю, сдерживаю слезы.

Крики, подзатыльники, является милиционер. Меня ведут в отделение милиции.

По пути высасываю кровь из разбитой губы. А «потерпевшая» показывает всем затекший глаз и пухлую кисть руки с четкими отпечатками моих зубов. Один из которых, кстати, дал в ходе сражения изрядную качку.

Стасик, подвывая, семенит всю дорогу за нами. В отделение он зайти побоялся, остался на улице.

Отделение помещается в небольшом двухэтажном доме.

Меня усаживают на широкую скамейку, устроенную вдоль стены. По ту сторону барьера за столом сидит дежурный — пожилой, очень усталый на вид, с седоватыми усами, постриженными щеточкой.

Как и полагается сотруднику милиции, он строг и немногословен.

— Как звать?

— Гера. Георгий.

— Фамилия?

— Долгов.

— Где проживаешь?

— Свободы, двадцать два, «а».

— Мальчик не хочет жить на свободе, он желает к нам в малину, — чей-то веселый голос из-за решетки, которой забрано небольшое окошечко в двери.

— Гражданин Гомоедов, не мешайте работать, — невозмутимо произносит дежурный и задает мне следующий вопрос. Рассказываю о покупке мыла. Торговка визжит:

— Головорез! У него финка в кармане, гражданин начальник!

Ничего, кроме отцовского письма в единственном кармане штанов, у меня не обнаружили. Ключ от дверного

замка, привязанный к шнурку, висит у меня на шее, под рубашкой, его не нашли.

— Мать где работает?

— На заводе.

— Кем?

— Снаряды делает на станке, — громко, чтобы и торговка услышала, отвечаю я.

Дежурный коричневым от махорки пальцем тычет позади себя, не оборачиваясь.

На стене висит большой плакат, на котором изображен губастый и глупый на вид человек, а рядом, с громадным синим ухом и хитро прищуренным глазом, — другой. Подпись: «Болтун — находка для шпиона».

— Так ведь вы не шпион, а мильтон, — оправдываюсь я.

Из неведомого мне помещения, из-за двери с зарешеченным окошком доносится хохот.

— Дежурный отделения милиции, — поправляет меня дежурный и добавляет: — Бдительным ты должен быть везде. Про то, где снаряды делают, — помалкивай.

— Да он — подзаборник! — неистовствует торговка. — Никакой матери у него нет и не было! Щипач он, хапушник!

— Есть у меня мама, есть! — кричу я в ответ.

— Зинка, шимка ты моя, откудова выпала? — весело осведомляется тот же голос из-за частой решеточки. — Чеши сюда, ненаглядная ты моя профура!

Торговка будто не слышит ничего, но повертывается к решеточке спиной.

— Вот что, парень, — нестерпимо жестко глядя мне в глаза, произносит дежурный. — Отец твой под Сталинградом кровь проливает, мать работает денно и нощно, себя не щадит, а ты — хулиганишь? О чем думаешь, парень?

Молчу, опустив голову. Хоть бы провалиться!

Зато опять вмешивается торговка.

— За фулиганку его надо зачалить; по семьдесят

четвертой часть первая, гражданин начальник. Чтобы знал, как на честную женщину грабки подымать!

За решеткой раздается дружный хохот и улюлюканье.

— Зинка, быдло, ну, уморила! Честная девушка! Честная — во что дует! Охо-хо, хэ-хэ!

— Ты что, меня закладываешь, да?! — ощеривается торговка, повернувшись-таки к окошечку.

Закончив писать протокол, дежурный наставляет меня:

— Иди домой и скажи, чтобы мать пришла в милицию. В седьмое отделение к дежурному Маятуле. Я с ней побеседую.

— Письмо отдайте, — утрюмо говорю я и встаю.

— Возьми. Да не позорь больше родителей.

И он протягивает мне истерзанный треугольник.

— А я отсюда все равно не уйду.

— Как — не уйдешь? — дивится дежурный.

— Пусть мне эта тетенька мыло отдаст. За сто семьдесят три рубля. Они у нас — последние.

— Какие гроши? Свистит он все, гнида! — вопит торговка.

— Гражданка... — дежурный заглядывает в протокол.

— Вертидыркина она, — озорничают из-за решетки.

— Так вот, гражданка Погорелова, с вами мы разберемся особо, — объявляет дежурный Маятула.

— Деньги получит мать. Так ей и передай. — Он уже добрее смотрит на меня. — Больше сюда не попадай! Ясно?

Стасик терпеливо поджидает меня на противоположной стороне улицы, на лавочке.

— Что тебе там было? — любопытствует он.

— Ничего. Эх ты... Нюнить только умеешь. Струсил. А еще на фронт хочешь, с фашистами сражаться.

Жую я брата просто так, без злости.

— На фронте хорошо, — оправдывается Стаська, — у

всех фашистов фашистские знаки. Их сразу: тр-р — и все!

...Возвратившись домой, братишка долго корпит над самодельным альбомом, что-то старательно рисует, такая химический карандаш в каплю слюны.

Вечером я заглядываю в альбом, сшитый из довоенных газет. Стасик изобразил уродливого человечка — других он не умеет рисовать — с квадратиком в руке, больше похожей на клешню.

На груди человечка выведена жирная паучья свастика, в которую упирается трасса пули, выпущенных из «максима». На щитке пулемета и стволе красуются звезды. А на квадратике в руке уродца печатными буквами написано: «MIdJA». Причем «Ы» начертана неправильно: сначала палочка, а после мягкий знак петелькой в противоположную сторону — влево. Брат еще не ходит в школу...

«ЯСТРЕБОК» ГЕРОЯ

Утром пораньше, пока солнце припекает не так сильно, мы собрались на чердаке Вовкиного двухэтажного дома, в штабе, чтобы продолжить важное дело — печатанье листовок.

Дом, конечно, не Вовке принадлежит, в нем живет много семей, эвакуированных из Ленинграда. Не помню, что здесь было до войны, какое-то учреждение.

Семья Кудряшовых, а у Вовки осталась только мама, занимает крохотную комнатку на втором этаже в конце коридора — бывшую кладовку. Ее выделили тете Лене как уборщице здания. Единственное окошечко обращено в наш двор.

С чердака одноэтажного дома, где я живу, протянута

к Вовкиному окошечку медная тонкая проволока — боевая связь.

Вызвать друга очень просто: надо влезть по наружной двери на крышу сенок, после перескочить на большую крышу, пробежать до чердачного округлого окна, протиснуться в него, спрыгнуть на потолок, крутануть специальный штурвал — и все в порядке. Через несколько минут в овале чердачного окна появится лохматая голова запыхавшегося Вовки.

Разумеется, можно просто крикнуть из своего двора: «Вовк, выходи играть!» — он услышит. Но разве это интересно? Да и мама не всегда его отпускает. Получив же секретный сигнал — бряцанье пустой консервной банки, — Вовка исчезает незаметно, не вызывая никаких подозрений у матери.

Итак, штаб замаскирован на чердаке Вовкиного дома, в дальнем левом углу за кирпичной печной трубой.

Просторный темный чердачище выглядит жутковато. Особенно вечером или в пасмурную погоду. Днем же — ничего. А в штабе и вовсе светло — вверху, рукой не достать, находится слуховое окно. Непонятно, почему его называют слуховым: кого из него слушать?

Здесь же у нас и «типография».

Вовка всего на год старше меня, но у него более богатый жизненный опыт — лично побывал на войне.

Их эшелон по пути на Урал дважды бомбили, и после второго налета кого-то в соседних вагонах ранило и даже убило.

Штаб придумали мы вместе, типографию целиком соорудил Кудряшов. Оказывается, этим делом он занимался и в блокадном Ленинграде. Там Вовка раздобыл настоящий типографский шрифт. Несколько литер удалось привезти в Челябинск — в кармане случайно остались.

Литеры он хранит как зеницу ока, не соблазнился обменять ни на какие богатства, хотя шрифтом невоз-

можно пользоваться — не составляется даже маленькое понятное слово.

Листовки у нас получаются что надо. Клише служит старая резиновая подметка, на которой в зеркальном изображении Вовка вырезал самодельным ножичком фразу: «Смерть немецким оккупантам!»

Пригодились и два резиновых штампика, давнишние, еще детсадовской поры мои игрушки. Ими печатаются фигурка красноармейца по стойке «Смирно!» и всадник на коне с саблей наголо. Недостающую часть композиции, в центре, между красноармейцем и всадником, восполняет мой младший брат Стасик. Он рисует фашиста, всего изрешеченного пулями. Это коронный номер Стасика. Впрочем, ничего другого он не умеет рисовать, ведь художнику недавно минул шестой год.

Эти листовки мы раздаем в школе, где учимся, и знакомым пацанам с соседних улиц. Наша продукция пользуется заслуженным успехом и спросом. И это нас вдохновляет.

Когда листовок наштамповали штук двадцать, до нас долетел посторонний звук — удары в барабан и первые такты духовой музыки. Из слухового окна.

Работа приостановилась.

Музыка доносится от цирка. Но мы точно знаем, что никакого циркового представления нет и быть не может. В обширнейшем круглом помещении уже давно разместился военный тренировочный пункт, где готовят лыжников-десантников. Там проходил подготовку и наш отец прошлым летом. И мы с братом даже побывали у него однажды и видели занимающихся на манеже красноармейцев.

Но музыка звучала именно там. Кого-то хоронили.

Типографские дела пришлось временно приостановить.

По широкой деревянной внешней лестнице спускаемся вмиг.

Бегом (я вообще не люблю ходить) мы через считанные минуты очутились на месте событий.

Народу собралось множество. Во дворе госпиталя стоят «ходячие» раненые в пижамах, улица Красноармейская запружена ребятей, старухами и женщинами помоложе.

Военный оркестр, сияя трубами и оглушая барабанным боем, играет безостановочно. Здесь же красноармейцы, с винтовками и несколько воинских автомашин.

А народ прибывает. Пришедшие стараются протиснуться к бетонному крыльцу, над которым возвышается обтянутый красной тканью гроб, а в нем — очень бледный и очень молодой человек в гимнастерке с голубыми петлицами. Вокруг стоят, словно окаменев, люди в военной форме с «кубарями» и «шпалами» в петлицах, а один — с «ромбом». Некоторые держат в руках алые бархатные подушечки с прикрепленными к ним орденами. А у того, что с ромбом, нестерпимо лучит под солнцем граненая золотая звезда — хоронят Героя.

Хоронят под музыку довольно часто. Из госпиталя — тоже. Но Героя — впервые.

Вот уже и громкие рыдания слышались там и тут. Плачут и посторонние люди, при жизни никогда не видевшие того, по ком так искренне сейчас скорбят.

Гибель на фронте, в борьбе с фашистами, охватывает горем не только родственников.

Ведуны-старухи в перерывах между причитаниями рассказывают друг другу биографию покойного. Наш, челябинский. В сороковом школу закончил, в Заречье. И вот, судьба какая, помер от ран.

Старухи и родственников Героя показывают друг другу, подходят к ним, соболезнают. Но родственников я почему-то не запомнил. Наверное, потому что крутился постоянно возле оркестра.

Процессия двинулась медленно, торжественно по улице Труда, после — по нашей, пышной от зелени, улице

Свободы, свертывает на улицу имени Карла Маркса.

Я вижу многих знакомых — не только свободских — ребят, и они меня — тоже, шагающим следом за взводом красноармейцев, справа.

Мне думается о своем. В воображении вижу последнее сражение Героя-летчика, небо, прочерченное дымовыми шлейфами сбитых им «мессеров», представляю, как его, в кожаном шлеме с очками, вытаскивают из пробитой кабины краснозвездного «ястребка» подбежавшие друзья.

Идем очень долго. Наконец процессия останавливается и провожающие, родственники покойного, оркестранты и красноармейцы рассаживаются по машинам. Влезаю в кузов одной из них и я.

На кладбище, в дремучем сосновом бору, слышится только шелест вершин деревьев да хруст веток под ногами.

Военный с ромбами в петлицах произносит не очень длинную речь. Меня потрясает салют. Впервые в жизни я слышу настоящие винтовочные выстрелы. Целые залпы!

Тайком подбираю несколько теплых гильз, чему, конечно, радешенек. Гильзы сладковато пахнут порохом и сверкают. Видать, изготовили их совсем недавно.

Что меня еще поражает — памятник, который красноармейцы дружно установили на глинистом сыром бугре.

К памятнику — дощатой пирамиде, еще липкой от красной краски, накрепко прилажен настоящий пропеллер, винт боевой машины, «ястребка» погибшего Героя. Об этом я моментально догадался. Да и чего там догадываться-то!

Этот пропеллер пронзил мое воображение. Нижняя лопасть винта зияет недавним сломом. Ясно: летчик совершил таран. Кончились патроны, вот он и решил: сам погибну, но врага не пущу — жжик! — и отрезал винтом у фашистского «мессера» хвост.

Но погиб летчик, разумеется, не от того, что упал и

расшибся. От этого Герои не умирают. Его смертельно ранил другой фашист. Которого лейтенант Николай Яценко тоже сбил, уже падая. Вот так было дело!

Пока я фантазирую, трогая расщепленное слоистое дерево винта, все уходит. Я бросаюсь к месту, где остановились грузовики, на которых нас привезли сюда, но и там пусто — уехали. Я — один.

Жутко в полном безлюдье среди молчаливых крестов, заросших травой холмов и о чем-то тревожно шушукających высоченных сосен. Но я собираюсь с духом и по незнакомой дороге уверенно бегу домой.

Сколько бежал, не знаю, но очень долго, часа два.

В штабе никого нет. Чердак заполнен липкой, нестерпимой духотой от раскаленного железа крыши.

Мокрехонький, спускаюсь во двор и несусь к Миассу. Весь штаб, в полном составе, купается и загорает. Стаська с малышами у бережка, в тине, бултыхает ногами и, перебирая руками по дну, делает вид, что плышет. А Вовка, окунувшись наскоро, в стороне, у водокачки, ловит удочкой пескарей. В ржавой консервной банке уже трепыхаются десятка полтора небольших рыбок — на маленькую ушницу.

Вовка удивительно изобретателен в поисках съестного. Он ловко выдергивает из-под камней раков, удачно рыбачит, беспощадно зорит птичьи гнезда. Мы и познакомились-то с ним из-за воробья, подстреленного им из рогатки.

Я это случайно увидел и, безусловно, не стерпел, ведь птиц убивать нельзя, грех. Это я от бабки Герасимихи много раз слышал. К тому же какой-то незнакомый пацан охотится в моем дворе! Невиданное нахальство!

Незнакомец хотя и был выше ростом, но оказался слабаком. Он не умел драться козонками. Через пару минут с расквашенным носом он перевалил через дряхлый заплот на свою территорию.

Трофей — мертвого воробья — Стасик и я похоронили

под кустом сирени в красиво выложенной осколками стекла могилке.

А на следующий день мы с Вовкой крепко подружились. Новый знакомый оказался толковым и верным товарищем, изобретательным на всякие игры.

Из воробьев, неслыханное дело, Вовка варил супы. И, по его уверениям, необыкновенно вкусные.

Мне было жаль птах, поэтому в воробьиной охоте я ни разу не участвовал. Зато мне понравилось лакомиться зелеными горошинками из стручковой акации, и мы вместе облазали все деревья в округе.

Вовка набрал полную тюбетейку и дома сварил кашу. Чердак своего дома Кудряшов освоил, охотясь на голубей, которые там жили в изобилии с довоенных времен. Вот почему весь чердак был усыпан голубиным пометом.

Постепенно Вовка переловил нехитрым приспособлением из старого тазика, палочки и куска шпагата всех аборигенов чердака до единого.

Этот птичий приварок и поставил на ноги Вовкину маму. Когда Кудряшовых привезли с вокзала, она и ходить-то не могла от голодной водянки. И это еще что! В Ленинграде умер от голода брат Вовки, старший.

Вовка со временем обследовал чердаки всех близлежащих домов, где водились голуби, а за наличниками окон таились воробьиные гнезда.

За вороньими яйцами Кудряшов ходил на остров, который почему-то звали садом, и ухитрялся забираться на высоченные старые тополя, недоступные ни одному из нас.

Вовка — настоящий охотник. Рыбу он подсекает на самодельный, выточенный им из куса проволоки крючок даже ловчее, чем иной взрослый на настоящий, заводской «заглотыш».

...После двух-трех нырков я вылезаю на берег и подробно рассказываю другу обо всем, что видел на кладбище. Показываю, конечно, и гильзы.

И тут меня осеняет: а что произошло с истребителем погибшего летчика? Где он? Винт, ясное дело, на могильном памятнике, а сам «ястребок» куда делся?

В воображении возникает серебристый самолет — без пропеллера. Он одиноко накренился в густой траве на поляне, точно такой, которую я недавно пересек в бору по пути с кладбища. Нет, «ястребок» притулился возле двух елей, их ветви надежно укрывают боевую машину от чужих глаз — никакой фашист не заметит. К тому же эта местность наверняка уже отбита у врага. Остается лишь установить, где она находится.

Вовка, поглощенный колыханием пробочного поплавка на мелкой волне, не оспаривает меня. Это еще больше укрепляет мою уверенность, что «ястребок» Героя существует и его следует как можно быстрее разыскать. Кому поиском заняться, как не мне?

Вот только забота: необходим новый пропеллер. А сделать его поможет мне Вовка.

Я предлагаю другу приступить к делу немедленно. Вместе с новым пропеллером на фронт захвачу заодно побольше листовок. Чтобы разбрасывать из своего самолета.

Итак, сматываем удочку, забираем улов и червей и приступаем.

Но прежде всем штабом мы идем на Митрофановское кладбище. Вовка тщательно измеряет винт, рисует чертеж.

Не так-то просто было раздобыть подходящего размера деревянный брус. Но мы нашли. Этого бруса лишился один дальний забор.

Мастерскую устроили в нашем сарае. Как нельзя кстати пригодился отцовский плотницкий инструмент. Все рубанки, ножовки, стамески, коловороты и прочие бесценные богатства мы нашли в образцовом порядке, в специальном чемодане и в настенных держалках над верстаком.

Винт получился на загляденье. Два дня по очереди шлифовали его наждачной шкуркой. На покраску вымакали бутылку красных чернил.

Одно лишь меня смущает — великоват. С меня ростом.

— Ништяк, — успокаивает Вовка, — зато не тяжелый. И до фронта не так далеко. Если к воинскому эшелону подцепишься.

Развертываем школьную карту СССР, размеченную Вовкой согласно последним сводкам Совинформбюро. До фронтовой линии действительно не так далеко — напрямую всего несколько сантиметров.

Трамваем добираемся до вокзала. На разведку.

После городского базара железнодорожный вокзал — самое завлекательное место в Челябинске.

Двухэтажное, большое здание вокзала, до отказа набитое переселенцами, пассажирами и всякими бездомными, заброшенными сюда войной людьми, всегда манило нас.

Пассажиры по-семейному расположились даже на привокзальной площади. Люди сидят на булыжной мостовой, лежат, едят, спят, отдыхают, чинят одежду, а дети играют в догонялки, прятки.

Почти голые, смуглые малыши пляшут, прихлопывая себе в такт ладошками, напевают:

— Арбуз-дыня...

— Пузо сине...

И клячат, не пропуская никого:

— Дай копеечку, дай кусочек хлеба...

Монетки им кидают, даже бумажными деньгами одаривают, а вот хлеба...

Все ожидают своих поездов. Неделями, а то и месяцами.

Воинские эшелоны почему-то проходят мимо не останавливаясь.

— Где же они грузятся? — спрашиваю друга.

— Задай вопрос полегче, умник, — озабоченно отвечает Вовка.

И все-таки мы пошли на разведку.

Мы долго бродили между товарняками, пролезали под вагонами, едва убежали от стрелочника, который приметил нас и пытался ухватить. Мы все измазались и, вконец отчаявшись, ни с чем вернулись домой.

Теперь нам предстояла нелегкая задача: до возвращения матерей с работы очистить извоженную нашу одежду, просушить ее и, кроме того, справиться с повседневными домашними делами.

Наша затея — пристать к воинскому эшелону — отпала сама собой.

Остается еще один путь на передовую — пассажирскими поездами.

Решаем, что в дорогу мне следует скопить еды. Насушить сухарей, например. Вовка божится, что снабдит меня вялеными на солнышке чебаками и ершами.

Трофейную фляжку предусмотрительно приобрели заранее. Я выменял ее у Крымова Альки за лучший на улице Свободы панок — биток для игры в бабки. Тяжелый, залитый свинцом панок не знал промахов. Я им выиграл несметное богатство — не меньше двух ведер бабок. Но за фляжку не пожалел, отдал — какой боец без фляжки?

Художник Стаська хотя и входит в состав штаба, в сокровенные, особо секретные планы мы его не посвящаем, по молодости проболтается, чего доброго.

Кудряшов тоже жаждет податься на передовую, но на кого оставит мать? У меня — другое дело. Стасик растет не по дням, а по часам. Домашние заботы после моей подготовки ему уже вполне можно доверить.

Наконец наступил тот необычный день. Проснулся я так рано, что слышу, как мама встала, вскипятила чай на примусе в кухне, торопливо позавтракала и ушла на работу.

Очень хотелось попрощаться с мамой, по-мужски, как отец тогда, перед отправкой на фронт. Он крепко обнял, поцеловал нас всех и сказал:

— Живите мирно. А я — вернусь, и заживем еще лучше.

Я не заплакал, глядя на маму. И Стасик тоже. В нас вошло спокойствие отца.

А сейчас мне так тоскливо, что стоит приоткрыть веки и увидеть маму — не выдержу, слезы комком стоят в горле. И тогда все пропадет. И никуда я не уеду.

Во мне напряжился каждый мускул, каждый нерв.

Как только затихли мамины шаги и хлопнула уличная дверь, я вскакиваю с постели и быстро одеваюсь.

С чердака посылаю сигнал. Вовка что-то мешкает. Он появляется со связкой вяленых пескарешек. На правой Вовкиной щеке отпечатался затейливый узор. От подушки, набитой сеном.

— Командир, атанда, — шепотом произносит друг, лежа на гремучей жести пластом.

Внизу надрывается карканьем бабка Герасимиha.

— Лешевы дети! Всюю крышу ижмутужили! Бегают, как лошаки по улке! Шлежайте щас жа, не то мильцанера пожову!

Дежурного Маятулы из седьмого отделения нам только и не хватает.

Пережидаем напасть. Соседка, утихомирившись, уходит на великое стояние в очереди в орсовский магазин, что на улице Пушкина.

Стасика застаем с малышкой в канаве, напротив наших ворот, он строит из песка дворец.

С этой канавой и у меня связаны отрадные воспоминания. После дождя, особенно ливня, она выходит из берегов, бурливо несет мутные потоки в Миасс. Тогда мы выводим на ее просторы целые флотилии кораблей: от

сделанных из куска газеты до парового катерка, котел которого работает на горящей свече. Этот красно-синий катер — мечта свободских пацанов — принадлежит Мишке Скуратову, сыну закройщика дамской обуви. Скуратовы богато, на зависть всей улице, живут в собственном большом доме через дорогу.

Пока Стасик лепит стены и башни замка, я написал и положил в сахарницу записку:

«Мама, я ушел на фронт. Не ругай меня. Стасик будет тебе помогать. Он научился хорошо поливать огурцы и мыть посуду. Я вернусь после победы. Георгий».

Чтобы братишка не увязался за нами, пробираемся дворами, тропками, известными только нам, через дыры в заборах, а кое-где и по крышам домов и сараев — так можно выйти куда угодно, на любую улицу окрест.

Кудряшов помогает нести вещи до вокзала. Мы прощаемся, крепко пожав друг другу руки. Я обещаю писать с передовой.

— Встретимся на фронте! — заверяет меня друг. — Вот только бы маманя выздоровела.

Вовкина мать, действительно, никак не может оправиться от хвори. Когда ей становится невмоготу, Кудряшов подметает и моет коридоры и лестницы во всем доме — за нее.

День в вокзальных мыканьях проходит благополучно. Милиционеры не обращают на меня внимания. Дважды воинский патруль проверял документы и уводил с собой каких-то людей. Кругом поговаривают, что это дезертиры.

Встаю в очередь за кипятком, наливаю полную фляжку и выпиваю ее не спеша, похрустывая сэкономленным сухариком, наслаждаясь новым своим положением — почти фронтовик!

С молниеносной быстротой разносится среди пассажиров весть, что скоро отправится поезд на Москву. Его почему-то все называют пятьсот веселым.

Толпа валом катит на перрон. Со скарбом и грудными детьми. Я со своим пропеллером — тоже. Он тщательно упакован в старые афиши со щита рекламбюро и перевязан шпагатом, который невесть где раздобыл Вовка.

Видимо, с поклажей я очень похожу на настоящего пассажира, никто не догадывается, куда и с какой целью я собрался.

Однако ни в один вагон меня не пускают. Хотя я усердно вру, что еду с родителями и что они где-то здесь, в пятьсот веселом.

Посадка и погрузка тянутся так долго, что я вовсе отчаиваюсь. Останавливаюсь возле группы подростков и двух-трех взрослых, пристроившихся сбоку пыхтящего паровоза.

Мне тотчас становится известно, что это безбилетники, такие же, как я.

— Заяц? — спрашивает меня парень в грязной кепке, посунувшейся на глаза. Или нарочно надвинутой так низко, чтобы скрыть лицо.

— По фене ботаешь? — шепчет он.

— Не поняв вопроса, не отвечаю.

— А это у тебя что за бандура? — развязно пристаёт тощий парень и щупает винт грязнейшими пальцами с белыми ногтями.

— Не лапай, — ошетиливаюсь я.

— Чего рыпаешься? — шипит парень, встав в угрожающую позу и озираясь по сторонам.

— Хочешь, распишу? — свирепо шепчет он. Меж пальцев я вижу зажатое лезвие бритвы, и меня пронзает сознание опасности.

Но в моих руках более мощное оружие. Парень это понял и прячет лезвие безопаски в рот, за щеку, блеснув зубной коронкой — фиксой.

Смеркается. Поезд наконец-то медленно трогается. На ходу я подаю кому-то пропеллер, карабкаюсь по желез-

ной лестнице. Через минуту я на угольном тендере, где уже набралась уйма народу.

Кто сидит, согнувшись, а кто распластался на угольных глыбах. Лица наши быстро становятся серыми, а руки — чумазыми, как у того фиксатого с бритвой за щекой.

Упругий, неукротимый ветер треплет мои волосы и полощет рубашонку; колючая угольная пыль из паровозной трубы, еще горячая, иногда хлещет по подбородку и шее — приходится защищать голову ладонями.

Начинается дождь. Он неистово барабанит в спину. Укрыться — некуда. Так мы и лежим, напрягшись, и нас нещадно секут проволочные струи.

Открылись створки люка, и я вижу кочегара, выгребающего уголь из тендера.

Кочегар работает молча, не обращая на нас внимания.

Хочется туда, в жаркое нутро паровозной кабины. Тело ноет от стужи и сырости, но никто и не пытается покинуть холодную железную грохочущую коробку.

Приходится терпеть. Теперь я обязан сносить все неудобства.

Очнулся от резкого толчка в бок. Дождь прекратился, но ледяной ветер свищет со всех сторон. Рядом, нос к носу, рожа того, фиксатого, парня. В руке у него опять блестит лезвие.

— Эй ты, домашняк, отдай деньги!

— Какие деньги?

По моему телу уже шарят холодные липкие пальцы.

— Ша, — шипит грабитель, — а то шнифты вырежу.

Бритва мерцает у самых моих глаз. Это кошмарное видение исчезает так же внезапно, как и появилось. Мне становится страшно. От пронизывающего студеного одиночества и незащищенности. Крепче обнимаю пропеллер, который вроде бы источает тепло. Он и в самом деле согревает меня.

Так мы едем всю ночь.

Утром состав замер. Посредине поля.

Лежу лицом вверх на теплой, раскачивающейся, влажной земле. Голубой простор опрокинулся на меня. Прохладное дыхание поля обвеваает мои горящие щеки. Беле-
сый ковыль качается под дуновениями свежего воздуха. Зеленые упругие травы шелестят и даже позванивают чуть слышно. И такой кругом покой. Только шипит пар, вырывающийся из согнутой трубки вниз, под брюхом локомотива, в нескольких шагах от меня.

Какое-то странное состояние овладевает мною — легкость. Не чувствую своего тела. Мои мысли, ощущения окружающего мира словно витают надо мной. И не могу понять: сон все это или явь.

Белое облако-танк беззвучно нагоняет какое-то много-головое чудовище. Они расплющиваются в схватке, и из горы белой ваты невидимый скульптор вот уже вылепил могучего грудастого коня с гривой, распластанной по небу и кое-где просвечивающей голубизной.

К действительности меня возвращают крики:

— Поехали! Пое-е-ехали!

Поднимаюсь, преодолевая невероятное сопротивление чего-то, что давит на грудь и валит из стороны в сторону. Хватаю винт и бегу на подсекающихся в коленях ногах к тендеру. Покатали дальше!

Процеллер цел. Пакет листовок за пазухой, а вот узелка с сухарями и Вовкиной рыбой — нет. И фляжка почему-то пуста.

Вспоминаю, как ночью меня обшаривали холодные пальцы фиксатого парня. Сухари и рыба его, наверное, рук дело. А воду я сам выпил. Меня терзает жажда, губы потрескались и болят. И глаза режет, словно в них песок насыпан.

Как будто из вмиг растаявшего тумана возникает крутой земляной откос и уходящая в самое небо лестница из деревянных плах, врытая в заросшую прохладной травой землю.

— Уф-фа, уф-фа,— раздаётся в ушах, пульсирует в такт ударам сердца.

Это — Уфа. Бреду вдоль железнодорожных путей. Слева — длинный состав теплушек. Возле зеленого пассажирского вагона стоит военный в очках. В начищенных хромовых сапогах. Подхожу к нему:

— Дяденька, мне надо на фронт.

Военный удивленно смотрит на меня. Долго. Очень долго. У него внимательные глаза. И я рассказываю, торопясь, обо всем. Только это не совсем связно, видать, получается.

— А это у тебя что? — спрашивает военный, поправляя очки на переносице движением указательного пальца.

— Пропеллер к «ястребку». Новый. С другом, Вовкой Кудряшовым, сами выстругали. И Стасик нам помогал...

Достаю из-за пазухи пакет с листовками и свернутую вчетверо школьную карту с проведенной карандашом линией фронта и крестиком, обозначающим место, где приземлился лейтенант Яценко.

Рассказываю, как удалось мне у санитарки тети Маруси, соседки (она работает в том госпитале, где умер Герой-летчик), установить это место, причем — точно.

— А ну-ка, друг ситный,— говорит военный, и на петлицах его темно-зеленой гимнастерки я замечаю эмблему, уже где-то виденную: вазочка, в которую сунула голову змея.— А ну-ка, дружок, влезай сюда.

И военный подсаживает меня на высокую подножку. Винт застревает в дверях, и я оставляю его в тамбуре. Мой новый знакомый заверяет, что пропеллер будет в целости и сохранности, как в аптеке, и что я за него могу не беспокоиться.

В купе, лицом к стенке, на нижней полке с храпом спит другой военный, в шерстяных домашних носках.

Появляются и уходят какие-то женщины, тоже в военной форме и с вазочками в зеленых петлицах.

Еще и еще рассказываю то о Герое-летчике и сломанном пропеллере его «ястребка», то об отце, то о Вовке, который пока не может уйти на фронт из-за хворой мамы.

Военный в очках берет мою руку, держит за запястье и решительно произносит:

— Вот что, дорогуша. Пока на фронт тебе нельзя. Подлечиться малость надо.

Он предлагает мне снять рубашку и приставляет к спине щеотно-прохладную деревянную трубочку, слушает, как я дышу.

Странно изменился мир вокруг: от голосов у меня больно дребезжит в ушах, а предметы кажутся движущимися и мягкими. Полка, на которой сижу, словно горбом выгнулась, и я валюсь набок, и руки, ставшие ватными, не держат меня. Беззвучно ударяюсь головой о крашеную, в светлых зигзагах полку, и наступает полная тишина.

...Поезд рванул с места так резко, что меня подбрасывает на стыках рельсов, трясет беспрестанно. Мороз пронизывает и скручивает тело в клубок, и мне грезится, что я опять в железном ящике угольного тендера, кругом бушует вьюга и откуда-то с неба прорывается голос:

— Мония, мония, мония...

— Ну, как, фронтовик, дела? — передо мной незнакомое мужское лицо. Только глаза я вроде бы уже видел. Наверное, очень давно. Когда был маленьким.

— Ожил, воробей? — снова спрашивает незнакомец и надевает очки, поправляя их на переносице указательным пальцем. Доктор!

Нижняя полка напротив опять занята. На ней в такой же позе спит другой человек — без носков, с желтыми пятками.

Сильно пахнет карболкой.

Подрагивает и поскрипывает полка подо мной, на столике тонко звякают какие-то склянки.

Спрашиваю, а не слышу своего голоса. Пытаюсь подняться. Большая ладонь ложится на мою грудь.

— Лежи, лежи.

— Куда мы едем? — спрашиваю громче.

— Много будешь знать, скоро состаришься. Прими-ка. Пью какую-то кислую микстуру. Меня клонит ко сну.

А тем временем санитарный поезд медленно движется между скал.

На остановках выгружают раненых — в окно все видно даже ночью.

Военврач подолгу отлучается: лечить раненых. С тоской жду его возвращения.

Полка напротив никогда не пустует. Сюда приходят отсыпаться после дежурства усталые и молчаливые люди — санитары и врачи.

Дверь нашего купе не закрывается, и я часами наблюдаю, как по коридору пробегают, проходят, снуют люди, часто в белых халатах, с носилками, с бидонами и разными другими поносками в руках.

Из разговоров мне становится ясным, что едем не на передовую линию фронта, а, наоборот, в тыл. Но почему-то обрадовался, когда военврач сказал, что завтра будем в Челябинске.

Однако восторженность вскоре сменилась виноватостью за все происшедшее со мной. Уши обжигает, когда представляю возвращение домой. Я даже всплакнул втихомолку под одеялом, чтобы никто не заметил.

— Подготовили документацию в семьсот сорок первый? — спрашивает военврач какую-то женщину в халате с пачкой бумаг в руках.

— Так точно, — отвечает по-военному женщина.

— Прихватите еще вот этого хлопца. Он рядом с госпиталем живет. Доставьте по адресу.

И тут я снова слышу знакомое — «пне-вмо-ни-я». Слово это относится ко мне.

— Дяденька... Товарищ военврач, а как же пропеллер и листовки? — робея, спрашиваю я.

— Об этом, герой, не беспокойся. Листовки передам в воинскую часть, на самую передовую. Все до единой «Смерть фашистским оккупантам!» попадут куда надо. А винт... Его тоже передам по назначению.

Я сразу ему поверил. Такой человек не может солгать. На сердце у меня отлегло.

В машине с обтянутым брезентом кузовом, заставленным носилками с ранеными, меня подвезли к знакомому школьному крыльцу. Да, сюда, в школу № 36 в последний предвоенный год в сопровождении мамы я пришел в первый класс. И здесь в томительном ожидании, помню, стоял, чутко прислушивался, чтобы не пропустить, когда учительница назовет мою фамилию.

— Долгов,— это голос той женщины, которой военврач поручил доставить меня по назначению.— Можешь передвигаться самостоятельно?

— Могу,— отвечаю я и спрыгиваю на школьное крыльцо, где не так давно стоял на табуретах алый гроб с бледным юношей в новенькой гимнастерке с голубыми петлицами.

Сильно мотнуло в сторону, но я удержался на ногах.

— Получи,— протягивает мне строгая женщина конверт.

В нем я обнаружил рецепт с печатью и потерханное отцовское письмо из-под Сталинграда, полученное еще весной.

До дома — всего полтора квартала — добираюсь невообразимо долго. Уж очень легко мне вдруг становится несколько раз, того и гляди, взлетишь.

До самой двери меня никто не встретил. Я этому рад.

Ключ лежит, как всегда, под половиком у порога.

На столе рядом с кастрюлей, укутанной в бывшее Стаськино одеяльце, лежит записка:

«Гера, ешь картошку с хлебом и жди меня. Стасик гостит у тети Поли».

А в сахарнице на следующий день я нашел телеграмму: «Надежда Павловна не беспокойтесь ваш сын Георгий вернется через несколько дней военврач Тасгалов».

ГУДИЛОВНА

После неудавшейся попытки уехать на фронт я долго и тяжело болел воспалением легких.

Не столько горевал я о том, что хвораю, как о том, что приключилась болезнь не вовремя — стояло знойное лето, все соседские ребята с утра до вечера пропадают на берегу Миасса, купаются и загорают, устраивают грандиозные сражения на острове, а я вынужден лежать в постели, изнывая от безделья.

Только призывно-зазорное щебетанье воробьев доносится сквозь открытую форточку да иногда слышится собачий дальний лай.

Спасают меня от непереносимой, гораздо хуже болезни, скуки друзья-книжки.

Иногда появляется Вовка Кудряшов, дружок закадычный. Это — самые отрадные минуты. От него я узнаю ребячьи новости.

Однажды Вовка сообщил, что с чердачного наблюдательного пункта замечен мой новый сосед — прихрамывающий военный с тростью.

Трость очень красивая, разноцветная, это было видно даже издалека.

И вошел он, открыв дверь ключом, в квартиру Гудиловны, до сих пор пустовавшую, — хозяйка ее исчезла вместе со своим лысым мужем-немтырем и толстяком сыночком Шуриком еще в апреле.

Исчезновению Нины Иегудииловны предшествовала потрясающая, до жути захватывающая сцена.

Об этом событии знали не только все жители улицы Свободы, но, наверное, и дальних кирсарайских барачников. Столь широкое оповещение следовало поставить в заслугу бабке Герасимихе.

До войны у нас — в жактовском доме — была однокомнатная квартира с чуланом, который имел самостоятельный выход во двор.

Вместо этого обширного, еще «барского» (дом до революции принадлежал сбежавшему за границу биржевому маклеру) чулана отец решил пристроить жилую комнату. Строительством он занимался два года в часы досуга, уже успел — с моей помощью — обить дранкой стены и потолок, два воза песка заготовили для штукатурки, и тут началась война.

Отец сразу пошел в районный военкомат, и его без проволочек мобилизовали. Комната осталась нештукатуренной.

Помнится, тогда же, летом сорок первого, в город стали прибывать первые эшелоны эвакуированных.

Людей расселяли по квартирам — «на уплотнение». Уплотнили и нас. Если наша соседка по коридору, завмаг, учинила истерику, не желая уплотняться, так и не пустив к себе какую-то одинокую женщину с плетеным баулом, то мама отнеслась к вселению эвакуированных с пониманием. Она близко к сердцу принимала чужое горе и вообще все происходящее в стране, в мире.

Бабка Герасимиха объявила маму сумасшедшей после того, как она осенью сорок первого, когда немцы подошли к Москве, подала заявление в военкомат с просьбой зачислить в действующую армию. Ей отказали.

Герасимиха же на весь общий коридор осуждала маму, обвиняя ее в том, что она хочет детей, то есть меня и Стасика, оставить сиротами, да еще почему-то «круглыми».

Ничего она не понимала, эта затюканная старуха. Мама на фронт просилась потому, что очень любила нас.

До войны она работала бухгалтером в конторе, а после размещения привезенного с запада механического завода в громаднейшем здании оперного театра пошла на этот завод, стала токарем, точила гильзы для крупнокалиберных снарядов. Вот такая у нас мама! Только о себе она ничего особенного не рассказывала.

Когда ее наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», она плакала от счастья и от переживаний, накопившихся за четыре года.

Но это произошло позднее, после запомнившегося мне навсегда Дня Победы, невиданным салютом и всенародным ликованием разделившего нашу жизнь на две части — ту, что была до него, и после.

...Сначала в неоштукатуренной комнате жила семья ленинградцев. Исхудавший юноша, вялый и слабый, почти не вставал с постели, сооруженной из кирпичей и досок. Мать и бабушка приносили ему в тарелках обеды, которые получали по каким-то особым талонам.

Но вскоре ленинградцам дали другое, более благоустроенное жилье и в большом доме — тогда, пожалуй, самом высоком в городе, по улице Цвиллинга, — и они переехали. Точнее — ушли, им нечего было перевозить.

В бывшей нашей комнате поселился невзрачный, лысоватый, бессловесный человечек. Он не здоровался ни с кем, проходя мимо. Да и появлялся он крайне редко. Служил человечек, как утверждала Герасимиha (и где только разнюхала!), экспедитором в орсе. Я так и не понял, кем и где он работает, смысл того и другого слова был мне тогда неведом.

Вскоре комнату оштукатурили, в окно рабочие вставили решетку с прутьями в палец толщиной, а на дверь навесили накладку полосового железа с пробоем — винтовым замком. Сразу явилось семейство бессловесного человечка, которому мы уже придумали кличку — Немтырь.

Нина Иегудиловна, ее окрестили Гудиловной, стала всеобщим бедствием.

Такой напасти в нашем квартале не видавали никогда.

Злобы этой женщины с лихвой хватало на всех.

Вот Гудиловна выбегает на середину двора, как на цирковой манеж клоун.

Голосом, который был отчетливо слышен даже на ЧТЗ, она зовет:

— Люди! Вы посмотрите только, что сделали эти враги! Чтоб они сдохли! Они измазали мое платье! Я покупала его еще в Житомире! Они испачкали его кошенильным дерьмом, бандиты, уголовники! Они прожгли его, изверги!

Увидев нас, Гудиловна бросается ловить предполагаемого злоумышленника, чтобы расправиться с ним. А подозревает она всех без исключения.

Мы дружно ненавидим придурковатую Гудиловну, а расплачивается за это ее сын, толстяк, паинька Шурик, безобидный увалень, которого мы прозвали жвачным животным.

Заботливая мамаша пичкает его беспрестанно булочками и бутербродами — даже с вареньем из вишни! — а Шурик лишь послушно поглощает всю эту вкуснотищу. А мы почти всегда голодны. Выпросить же что-нибудь у «жвачного» Шурика невозможно — свои бутерброды он доедает в безопасном от нас отдалении, под бдительным присмотром Гудиловны.

К тому же Гудиловна запретила сыночку играть «со всякой шпаной», с нами то есть.

Надо ли говорить о том, что Шурику попадает от ребятни часто и как никому другому, иногда и ни за что.

Услышав вопли чада, Гудиловна выскакивает за ворота — на потеху обывателям — на проезжую часть и, потрясая кулаками и брызгая пенистой слюной, прокликает нас.

Я спасаюсь от взбешенной Гудиловны на высоком то-

поле возле наших ворот. Она не может взобраться на дерево, слишком толстая, хотя бегают удивительно быстро. Горе ждет того, кого она настигнет — измолотит, защебет, уши искрутит.

Зато, уцепившись за согнувшуюся дугой вершину тополя, можно считать прыгающей внизу Гудиловне:

Жирная бочка
Родила сыночка
Шурика-мурика,
Жвачное животное.

Песенка на нехитрый детсадовский мотив получилась нескладушкой, но за неимением лучшей мы платим ею Гудиловне за незаслуженные обиды, за ее несправедливость. Мы были уверены, что правы в своей войне с Гудиловной.

Вовка придумал новую игру — «Прожектор». В солнечную погоду с наблюдательного пункта мы светим настольным зеркалом в тюремное окно Гудиловны — пускаем «зайчик».

В конце концов обезумевшая Гудиловна со стенаниями и проклятиями выкатывается из своего логова, и тут в бой вступает другой прожектор, поменьше, Юрки Бобылкова, с крыши его дома в соседнем дворе направо.

Самой большой удачей считается момент, когда «прожектористы» захватывают беснующуюся Гудиловну «на перекрест», то есть двумя зеркалами с обеих сторон одновременно, и приступают к обстрелу бумажными пакетами с песком.

Да, мы жестоко платим Гудиловне за придурь. Ведь она недаром надрывается сейчас о прожженном платье. Это Вовка по-пластунски подполз с тыльной стороны к заборчику, на котором просушивались вещи, и умудрился не только измазать недавно вычищенную одежду — с нее Гудиловна глаз не сводила, но и линзой через щель между досками прожечь пару отверстий в платье.

Так была отомщена незаслуженная обида — натрепанное накануне Гудиловной ухо нашего славного начштаба Вовки.

Вообще-то наш отряд совершил немало славных дел, особенно для семей красноармейцев и погибших, но со злом бороться мы тоже не боимся. А Гудиловна для нас зримое воплощение зла.

Она каждодневно учиняет скандалы — так просто, для прочистки глотки, чтобы потешиться. Над взрослыми Гудиловна быстро одерживает победу, и для нас эти схватки не представляют особого интереса. Нас она одолеть не может, не в силах.

Однажды Вовка, опять пострадавший от кулаков мучительницы, предложил выпустить специальную листовку «Смерть Гудиловне!». Посоветовавшись, мы решили, что листовки «Смерть немецким оккупантам!», которые печатаются в типографии нашего штаба на чердаке Вовкиного дома, — важнее.

А в апреле, когда солнце уже припекло, полетному и под заборами роями высыпали бурые букашки с черными пятнышками на спинках, их солдатиками звали, а мы большой гурьбой сбегали в парк культуры и отдыха и впервые в году искупались в заброшенных каменоломнях, кишящих лягушками, произошло великое событие, положившее конец гнету Гудиловны.

К нам во двор въезжает автомашина — явление чрезвычайное. Автомобиль зеленого цвета, ребристый остов обтянут брезентом с защитным маскировочным рисунком, а в кузове — красноармейцы с винтовками.

Вопль Гудиловны, дикий и протяжный, раздался, когда вместе с понатыми — вездесущей бабкой Герасимихой и матерью одной соседской девчонки — приехавшие приступили к обыску комнаты.

— Ой, нет у нас ничего! — истошно голосит, обливаясь слезами, мордастая Гудиловна. — Да что же это, люди! — вопит она, воздевая полные свои руки с тяже-

лыми кулаками.— Посмотрите, люди, что они делают! Клянусь дитем своим, нет у нас ничего! Хотите — на колени встану?

И она бросается на карачки.

А красноармейцы делают то, что им приказано — сдвигают в сторону пузатый буфет и открывают крышку подпола.

Когда достали чемоданы, ящики со свиной тушенкой и консервированной, в квадратных банках, американской колбасой, бочонок лярда (свиного жидкого сала, тоже импортного), Гудиловна замолкает.

— Склад, цельный склад, — шушукается с другой понятой Герасимиha. Я во все глаза разглядываю консервированную колбасу. На кубической формы банке изображен шикарный всадник в широкополой шляпе с пушистым плюмажем.

Открывают один из чемоданов, извлеченных из подпола, и Гудиловна вовсе отворачивается к стене, и Шурика повертывает, чтобы не увидел происходящего.

А происходит следующее: чемодан, оказывается, полнехонек пачек тридцатирублевых, красных, в банковской полосатой упаковке.

Герасимиha обомлела. Она, с отвисшей челюстью и вытаращенными глазами, воззрилась на раскрытый чемодан.

— Сволоши! — хрипит она. — Сволоши! Лешевы дети! Тута ради кушка хлеба пошледние шибалы ш шебя продаешь, а они — у, ироды! — вона школь награбили!

Старуху трясет от гнева. Складки бурой кожи на ее щеках поддрагивают. Она готова броситься на Гудиловну.

Успокоившись немного, Герасимиha громко сообщает второй понятой:

— А я, мил шиловек, примешать штала, кто этто в уборную куриные кошты, штало быть, брошает... А этто они, кровошошы, кажинный день курей жрали... Ироды!

Гудиловна молчит и лишь, обхватив сзади Шурика, шепчет ему:

— Не смотри туда, не смотри!

Но Шурику очень хочется увидеть, что там такое, и он поворачивает голову, косит большой, черный, как у вороненка, глаз.

Неожиданно Гудиловна резко повертывается к нам, крутанув Шурика, истерически рыдая или притворяясь, верещит:

— Смотри, сынок, запоминай, что они с нами делают, враги наши!

— Шама ты вражина, укупанка! — ощетинивается Герасимиha, подняв сухонький кулачок с наклепленными жгутами фиолетовых вен, и гудит басом: — У-у-у!

— Бештанную команду — вон! — приказывает старший.

Нас тут же всех бесцеремонно выпроваживают из комнаты, затворяется многопудовая, окованная изнутри листовым железом дверь.

Мы прилипаем носами к окну. Через двойные рамы ничегошеньки не доносится, лишь мелькают фигуры красноармейцев да растет на столе рыжая гора тридцаток.

От бабки Герасимиhi улица по секрету узнала, что деньги в чемоданах — «сколь миллионов» — фальшивые, «германские», и сделал их будто бы сам Гитлер. На нихто и скупала Гудиловна незабвенных курочек.

Это была потрясающая новость.

Гудиловна на радость всей округе исчезла следующим же утром. Навсегда.

ЧАСЫ СО СВЕТАЩИМСЯ ЦИФЕРБЛАТОМ

Квартира Гудиловны простояла несколько месяцев нежилой. Ставни были плотно закрыты на накладку с болтом, дверь — тоже.

Какие-то люди из домоуправления, чтобы попасть в квартиру, перепилили ножовкой накладку и ломиком выковырнули хитроумно устроенный внутренний дверной замок.

Комната оказалась абсолютно пустой — только мусор по углам остался после Гудиловны.

...И вот — новый жилец. Он поселился, когда я пребывал во фронтовых бегах.

Герасимиha хотя и жаловалась на слабость зрения, а разглядела: из вещей новосел принес с собой папку с бумагами, полевую сумку на ремне и шинелишку.

— На ней, видать, спит, сердешный, ею и укрывается, — жалела соседа бабка.

С первого дня возвращения я тоже понял, что за стеной кто-то есть — постоянно слышался какой-то стук, это беспрестанно ходил, как назвала его бабка, инвалид.

...Несмотря на постоянно открытую форточку, в комнате душно, и я выбираюсь на крыльцо, на свежий воздух. Устраиваюсь на завалинке, запахнувшись в старенький мамин плащ, — меня знобит. Но я с удовольствием всматриваюсь в громадное окно мира, удивляясь необычному. А оно — на каждом шагу.

Изумрудная, просвечивающая в солнечном луче, рогатая гусеница, тугая, с белоснежным колечком на грудке, ползет к сиреневому кусту — собственности завмага, «милой дочери Даши». Так ласково называет Бралкову, кланяясь при встрече, и без того горбатая бабка Герасимиha.

Гусеницу я не стал убивать — уж очень красива. Может быть, она и не вредитель.

На полянке играет сам с собой молодой кот, черный, как пантера. Этот кот принадлежит бабке. Чем он питается, для всех загадка, мышей в доме не водится. Герасимиha его не кормит — нечем.

Появляется наш новый сосед. Я узнал его сразу. Не-

высокого роста, широкоплечий, с залысинами, с резкими морщинами на лбу. Он!

Поднимаюсь с завалинки и здороваюсь

— Здравия желаю, чапаенок. Ты чего так укутался?

— Простыл. А вы меня узнали?

— Конечно. Это ты к отцу на фронт убегал.

— Не к отцу. Отец у меня под Сталинградом. А мне надо было совсем в другую сторону.

— В другую сторону... Драть тебя некому. О матери ты забыл разве?

Не нахожу слов объяснить случившееся. Тем более, человек он почти незнакомый и я его до немоты стесняюсь.

Сосед направляется к себе, но останавливается, не дойдя до угла дома, и говорит миролюбиво:

— Приходи ко мне, когда поправишься. Я тебе кое-что покажу.

Приветливые слова меня очень обрадовали, а еще больше — приглашение. Я даже не огорчился, что он запамтовал меня.

Вспомнился городской базар, корчащийся на чугуновой земле, в перетертой тысячами подметок пыли человек с остекленелыми глазами, кулачище над моей головой, намертво перехваченный в запястье другой рукой — моего теперешнего соседа.

Захотелось об этом открытии рассказать Вовке, возвратившемуся с сестренкой из районного городка Пласта Юрке Бобылкову (там живет его тетка с домашним хозяйством — козой и курами) и Стаське — вот удивятся. Однако навалившаяся усталость водворяет меня в комнату.

Следующим утром иду в гости к соседу.

— Уже оклемался? — спрашивает он.

У окна возле стены стоит невиданное, пахнущее свежим деревом сооружение — мольберт с полотном, вернее, мешковиной, натянутой на подрамник. Мешки со штампами — черная свастика в когтях взъерошенного, зло-

вещего орла. С лицевой стороны холст загрунтован и прописан.

Картина ошеломила меня. На ней изображен момент затишья после страшной битвы. На переднем плане — окоп, а в нем боец, словно спящий на вытянутой вперед руке. Но он не спит. Такими белыми лица спящих не бывают. Распластавшийся в последнем рывке боец вызвал недавно виденное: сверкающая медь оркестра, гроб на школьном крыльце и спокойное лицо летчика в скользящих солнечных бликах, пробившихся сквозь листву деревьев.

Рядом с бойцом, в нескольких метрах от него, накренившись, чадит вражеский танк. Черные клубы дыма и копоть заслонили часть горизонта, но зато остальное небо — ярко-бирюзовое и солнечное.

Пальцы погибшего в роковой схватке бойца крепко держат автомат, а на запястье тикают часы.

Безмолвие. Все мертво на поле боя. Даже земля, перепаханная снарядами и гусеницами танков, выжжена и затоптана насмерть — ни травинки, а часы — идут. Они продолжают отмерять время так же, как до сражения. Тогда был здоров и весел красноармеец, а танк с белым крестом на броне — подвижен, как голодный хищник, и грозен.

— Это вы нарисовали? — спрашиваю я.

Он согласно кивает головой.

Мой взгляд останавливается на ручных часах, но не тех, что так тщательно выписаны на полотне, а на точно таких же, лежащих на полочке мольберта, — с зеленоватыми стрелками и такого же цвета точками над каждой цифрой.

Составив ладони домиком, заглядываю в него: светящаяся стрелка движется, и цифры видны под точками, словно под крохотными лампочками.

— Это — трофей. Их мой друг добыл. В бою.

— А где сейчас ваш друг?

Художник глазами указал на полотно:

— Под Сталинградом.

— Знаю. А вы моего папу случайно не встречали? Вот письмо, он из-под Лапшина сюда написал...

— Как его фамилия?

— Долгов, Алексей Михайлович. Он — артиллерист.

— Нет, не встречал. Я ведь пехотинец. А друг мой был из детдома, сирота.

Придерживая негнущуюся ногу, он садится на ящик из-под консервов, видимо, доставшийся в наследство от Гудиловны и ее орсовского супруга.

— Ну вот, а теперь давай знакомиться. Меня звать Николай Иванович.

— А меня — Гера.

— Это что же за имя такое?

— От Георгия.

— Георгий — это хорошо: воин, землепашец, защитник земли русской, — говорит Николай Иванович и задумывается.

Наверное, в эти минуты он вспоминает о погибшем друге. А может, о том, когда перестанет болеть нога и он снова вернется в свою воинскую часть.

— Давай-ка вот что, брат. Надоело мне жить в этом карцере. Инструмент у вас какой-нибудь имеется? Топор, например.

Я похвалился, что есть даже коловороты и фигурные рубанки, а ножовок — четыре, и все разные.

Пошли в сарай. Николай Иванович выбрал гвоздодер, похожий на гусиную шею, кованые клещи и топор.

— Ну вот, теперь и дышится легче, — вытирая потное лицо, говорит Николай Иванович.

Решетка оказалась тяжелой. После мы вчетвером еле доволокли ее до ларька утильсырья.

С тех пор я стал часто заходить к соседу. И очень гордился нашей дружбой. Конечно, и Юрка Бобылков и Вовка Кудряшов мне завидовали.

Выспросил, что обозначают две матерчатые желтые ленточки, нашитые на гимнастерке Николая Ивановича, — тяжелые ранения. А две красного цвета — ранения легкие.

Подолгу наблюдаю, как неистово работает художник. Какая же это тяжелая работа — писать картину точкой, легонькой кисточкой.

Николай Иванович старательно избегает рассказывать о войне, и это еще сильнее распаляет мое любопытство.

— Война — это не для детей, брат, — каждый раз повторяет он.

...Лето сорок третьего. Днем жарит так, что о макушку можно ладонь обжечь, вечерами же на город низвергаются ливни — великая ребячья радость. Тротуары и даже дорога превращаются в бурлящий поток, в канаве не устоишь, вода — по пояс.

Но я лишен этой благодати — бултыхаться в канаве. Понимаю — нельзя.

Постепенно болезнь отступает.

Я так долго и горячо упрашивал маму, чтобы она разрешила мне пойти на реку вместе с ней и Стасиком, что она соглашается. С одним условием — не купаться. Ведала бы она, сколько страданий принесет эта уступка.

Мама помогает госпиталю. Безвозмездно. В свободное время она стирает воинское обмундирование. В корыте на общей кухне, близ наших дверей. Стрекочущий звук трущегося о стиральную доску белья я слушаю подолгу, лежа в постели, обессиленный болезнью.

Полоскать выстиранное обмундирование она носит на реку, к камушкам возле насосной станции.

В этот раз бренчанье стиральной доски неожиданно прервалось, и раздался слабый вскрик. Я, опираясь о стену ладонями, направляюсь к двери. Чую недоброе.

Мама стоит, наклонившись над корытом, а в нем на намыленной рубахе алеет кровь.

Такое белье попадало и раньше — и простреленное, и

прожженное раскаленным металлом, и окровавленное, запекшееся, как черный картон.

Мама, видя такое, не может сдерживать слез.

Но сейчас на белой ткани расплывается розовое пятно. Свежее.

Герасимиha выглянула, спрашивает, что случилось. Квартиры наши — дверь в дверь.

Мама разжимает ладонь, и я вижу развороченный раной палец, с которого струйкой, прожигая белую пену в корыте, стекает кровь.

— Вот, — растерянно говорит мама.

— Шего же ты штоишь-то, дуреха? — ворчит бабка и бредет за йодом и бинтом. То и другое у Герасимиhi нашлось.

Оказывается, осколок, острый, как лезвие охотничьего ножа, застрял в шве гимнастерки. Он и распорол маме палец.

— И ждешя доштала тебя вражья пуля германшкая, — причитает бабка.

— Не пуля, а оскoлок, — поправляю я.

— Кака ражниша-то? Вше одно — оружия, — сердится бабка. — Штоб тебя, треклятуший, на том швете шерти на угольях шпекли!

Это она — Гитлеру.

На Миасс я напросился с умыслом. Хочу помочь нести выстиранное белье. С забинтованным-то пальцем не шибко поработаешь — ведь гимнастерки и порты отжимать надо.

Вещей набралось — таз и полное ведро. Таз понесла мама. А остальное разложили в два ведра, которые на комысле я и потащил.

Ноша неожиданно оказывается настолько тяжелой, что я несколько раз останавливаюсь перевести дыхание.

Как ни соблазнительно нырнуть в освежающую воду, я только помогаю полоскать, закатав штанины и всего-то по щиколотку войдя в реку.

Но и этого для меня хватило.

Ночью подскочила температура, дышать трудно, задыхаюсь.

Мама — в отчаянье.

Заходит Герасимиха. Она решительно советует поить меня каким-то отваром, от которого «вся болесть харчком отходит».

Кто-то из сердобольных соседок подсказывает отправить меня в больницу, но бабка шикает, машет на советчицу морщинистыми, словно в не по размеру больших перчатках, руками. А маме внушает:

— И не вждумай, дуреха ты этакая. Жаморят парнишку, покойника из больнишы-те привежешь... Да нешто тебе швое-то дитя не жалко?

Бабка сварила какую-то отраву, до того горькую, что скулы судорогой сводит после первого же глотка. Но жар этот отвар сбил.

Герасимиха, подперев дряблую щеку толстым, с одеревеневшими мозолями пальцем, этак складно и безостановочно рассказывает:

— Егорию баршущего бы шала ш медом. По ложке в тепленькое молоко, он живо на ноги-то подшкошил бы.

Но где взять драгоценное барсучье сало, да еще с медом-молоком?

Если продать на барахолке все, что имеем, и то на барсучье сало не хватит. Без меда и молока.

И сознание невозможности помочь терзает маму до стона.

Герасимиха корит ее:

— Дуреха ты, дырявая твоя голова, пошто жолотое-то обрушальное колешко отдала? Шишаш на него баршука-то и укупила бы. И-ы-ы...

Мама и вправду отдала свое кольцо, когда собирали средства на строительство танковой колонны. Больше у нас никаких ценных вещей не осталось. Только чайная серебряная, мама звала ее десертной, ложечка с тонкой

витой ручкой и стеклянная сахарница в мельхиоровой оправе. Были настольные часы с музыкой, да я их по винтику разобрал еще маленьким.

Пришел наконец ко мне в гости Николай Иванович. Маме очень неловко. Она не знает, куда деть свои руки, красные, с потрескавшейся глянцевой кожей — от стирки, наверное. Она угощает художника фруктовым чаем из отжимков груш, неопишимо вкусных.

Николай Иванович сидит на краю моей постели, вытянув вперед раненую ногу, беседует со мной, чиркает что-то на квадратике ватмана огрызком моего красного карандаша, и — штрих за штрихом — получается чудесная роза. Он дарит рисунок мне. Цветок — «как живой». Так мама говорит после ухода Николая Ивановича. Тогда живых роз я еще не видел. Может быть, и видел малышом, да не обратил внимания, не запомнил.

Мама буквально немеет, когда Стасик приносит банку американской тушенки и кусок шоколада — почему-то совсем несладкого. Это подарок Николая Ивановича мне как больному.

Но не помог подарок. Вскоре я почувствовал себя совсем худо. Помню лишь глаза мамы, наполненные черной жутью, и то будто марлевая занавеска временами опускалась между нами.

Выплывали из серой мякоти полузабытья какие-то другие лица: бабки Герасимихи, Стасика, еще чьи-то — незнакомые. Среди них, кажется, и Николая Ивановича.

Я умирал, хотя этого просто не понимал и поэтому никакого страха не испытывал. Спасло меня чудо — лекарство. Достать пенициллин тогда практически было почти невозможно. Его не было нигде. Кроме военных госпиталей.

Пенициллин раздобыл Николай Иванович. И не взял с нас никакой платы. Обо всем этом я узнал позднее.

Остатки лета, осень и всю зиму я не поднимался с постели. И уроки выполнял, сидя на койке и положив

тетрадь на толстый том «Жизни животных» Брема.

Не часто ко мне навевались друзья Вовка и Юрка, у каждого из них были свои неотложные каждодневные заботы.

Как только сняли блокаду, Вовка с матерью уехал в Ленинград. А у Юрки на попечении находилась Галка, и он по хозяйству делал все, даже «стирался». Отец его неделями не выходил с завода. Он делал танки.

В один день за стеной стало тихо, надолго. Я понял: там снова никто не живет. Всезнающая Герасимиha сообщила, что соседа положили в госпиталь — на операцию.

Из госпиталя художник не вернулся.

Весной сорок четвертого мы разобрали кирпичную кладку, заполнявшую дверной проем, и у нас опять стало две комнаты.

В жилище Николая Ивановича я не нашел ни мольберта, ни картины на нем.

...Просматривая журналы или посещая художественные выставки, я ищу картину на знакомый сюжет: окоп, застывший в последнем броске молодой красноармеец, истекающий дымным смрадом оплывший танк перед ним, и во всю ширину полотна — чистое бирюзовое небо Родины.

АНТРАЦИТ ДЛЯ КАРИМОВНЫ

Вскоре после таинственного исчезновения Гудиловны произошла знаменитая антрацитная история.

Лысый Немтырь устроился капитально не только в нашей комнате. На задворках ему построили тесовый сарай, дверь которого запиралась тоже накладкой полосового железа с винтовым пробоем.

Сарай этот, по словам бабки Герасимиhi, цельные хо-

ромы, стал предметом бескончаемых обсуждений сосе-
док, в том числе тети Тони Короедовой. Она жила в од-
нокомнатной квартире нашего дома вместе с рыжим сы-
ном Колькой, зарабатывала на жизнь стиркой чужого
белья и уборкой в банной парикмахерской. Мужа ее, Коль-
киного отца, призвали в армию вместе с нашим папой,
но он сразу же пропал без вести. Тетя Тоня от него и
единой строчки не получила, однако была уверена, что
Иван ее жив. Да и как не быть убежденной, коли карты
каждый раз доказывали — живой, и все тут. Гадала тетя
Тоня, разложив замусоленную колоду карт на пестром,
из лоскутов, одеяле, ежедневно.

Жилось Короедовым очень трудно. Ржавец, так по-
пулярному звали Кольку, худущий парень, тогда учился в
старшем классе школы — в восьмом или девятом.

Упомянуть о Короедовых не было бы надобности, если
бы не антрацит. Полнехонький короб этого изумительно-
го по красоте угля привез на телеге старик в кожаном
фартуке и под надзором Немтыря выгрузил в белоснеж-
ный сарай. Бабка Герасимиha сразу же очутилась тут
как тут по старой памяти — ей удалось пожить щеп-
ками и стружками на строительстве этого сарая. Она и
сейчас надеется замести в кучку упавшие наземь комоч-
ки угля и суется с совочком и метелкой возле телеги.

Меня сюда привлекло иное. Нарвав огородной травы,
кормлю лошадь. Чуть боязно, когда она хватает губами
вместе с травой и мои пальцы — вдруг откусит, но умная
скотина чутка и добра ко мне. Глажу бархатистую теплую
морду, шею под гривой. Лошадь ласково смотрит на меня
большущим карим глазом и громко фыркает, наверное,
просит еще корма.

Этот эпизод имел необычное продолжение. После того
как наступили в нашем дворе мир и тишина, я и не по-
думал о судьбе Немтырева антрацита, хотя и знал цену
топливу. Прошлой зимой, когда у нас кончился торф и
в квартиру тихо вползла стужа, я и мама седыми сумер-

ками пошли через весь город в парк, разыскали там сухую лесину, спилили ее и уже затемно принесли домой два чурбака. После, уже со Стасиком, на санках приволокли остальную часть сосенки, а вскоре нам и уголь подвезли, как семье красноармейца.

Антрацит, между прочим, продавали на колхозном рынке кучками, но по недоступным ценам.

...В этот вечер в наружных дверях общего коридора я столкнулся нос к носу с Колькой. И сразу не узнал его. Передо мной оторопело стоял жгучий брюнет. На лице его, блестящем и черном, как новая галоша, виднелись только белки глаз.

Колька отстранил меня, оставив на майке отпечаток ладони, и молча вошел к себе, где сразу слышался булькающий голос тети Тони.

Утром, это не могло ускользнуть от мальчишеских глаз, мы заметили угольные крошки на пространстве между бывшими хоромами Гудиловны и короедовской завалюхой-временкой. Прильнув к щелям, мы углядели, что возле стены в дальнем углу стайки чернеет пирамидка антрацита.

С Вовкой мы вскоре нашли и подкоп под хоромы, замаскированный гигантскими листьями уже увядших лопухов.

— Ништяк, — удивился Вовка. — Во — клад!

— Чужой. Гудиловны, — возразил я.

— Недотепа. Гудиловна — тю-тю... Значит: чья потеря — мой наход.

— Ржавец первым нашел. Вчера весь черный приперся, как негр.

Но Вовка поморочивал малость и сказал:

— Пока Ржавый все к себе не утаранил, надо ему свистануть, что днем приходила Гудиловна, а вечером вернется за углем.

Вовка сам осуществил свой план. Ржавый ему поверил. Видно было, здорово же он струхнул. Он прекрасно

представлял, кто такая Гудиловна и как опасно с ней связываться.

Судьба антрацита в тот же день была решена на штабном совещании.

Я решительно высказался, что справедливо будет, если остатки клада достанутся Каримовне, хотя есть и другие, кто нуждается. Бабка Герасимиha, например.

...Бабушка Каримова, а попросту — Каримовна, живет в самом конце огорода, в бывшей барской бане. Когда и как старуха там обосновалась, никто толком не знал. А сама Каримовна об этом не рассказывает. Она вообще по-русски почти не объясняется. К тому же стара, очень. Ходить может, лишь опираясь на палку. А пропитание добывается милостыней.

Эта старуха давно возбуждает наше любопытство и воображение. Ведь она совсем не такая, как все: живет одна, в заброшенной бане, заросшей кругом непроходимым бурьяном, колючим репейником.

Посреди минувшей зимы, когда у Каримовны иссякло топливо, она перебралась на нашу общую кухню, спала под столом в углу.

Завмаг Бралкова пыталась изгнать старуху, но за нее вступились наша мама, тетя Тоня и даже Герасимиha. Тогда же и выяснилось, что сын Каримовны — оказывается, у нее был сын — на фронте и два внука — тоже.

— Вот пусть и уматывает к своим родственникам, — бушевала Бралкова; — а то вшей тифозных нам тут наплодит...

Но старуху отстояли, тетя Тоня сводила ее в баню, где все лохмотья пропустили в «прожарку», и Каримовна вроде бы прижилась у нас в коридоре, а как только потеплело, перебралась снова в свою лачугу.

Разумеется, мы, ребята, не могли не побывать в жилище загадочной старухи. Оно ведь и не запиралось.

Странное это было жилье.

В предбаннике слева от входа — большой ларь для

угля. Он пуст. И без крышки. В нем валяются старый тупой колун, ржавое ведро и лопата.

В мыльной, где когда-то парил свое толстое брюхо биржевой маклер, владелец нашего дома, на пологе возле печи лежит то, что служит хозяйке постелью. И больше нет никакой мебели. В очаге стоит пустая посуда — чугунок с ухватом, странной формы чайник или умывальник — на кувшин похож. Единственное оконце, с букварь величиной, заслонено с внешней стороны бодыльями, поэтому здесь всегда, и в солнечные летние дни, сумрачно. Если заглянуть в окошечко со стороны огорода, ничего не увидишь — тьма.

...Антрацитное совещание нашего штаба проходит бурно. Юрку Бобылкова мы чуть не отлучили за то, что несколько раз замечен в недопустимом — дразнил Каримовну. Решаем вообще взять ее под свою защиту. Юрке поручается вырезать звезду и прибить к избушке Каримовны. Чтобы все знали: здесь живет семья фронтовика. Вовка берется разузнать, получает ли старуха письма с фронта, кто их ей читает и ответы пишет. По его же предложению мы признаем гудиловнин антрацит трофейным.

— Короедовы уже сами отоварились, — докладываю я обстановку. — У Герасимихи только один человек на фронте — дядя Вася, а у Каримовны — аж трое. Конечно, ее надо в первую очередь обеспечить трофейным антрацитом.

— У нее и ларь пустой, ни углинки, — поддерживает меня Вовка.

— Вот его-то мы и насыплем до полна, — подводит итог Юрка.

— И я тоже хочу, — подал голос Стасик.

Желание его было уважено.

Как только стемнело и над нашим домом опять зажглась большая голубая звезда, мы собрались за сараями.

Разговариваем шепотом. Обстановка, понимаем, почти боевая.

— Не шебурши,— шикает Юрка на Стасика, старающегося пролезть вперед с игрушечным ведром.

Расширяем подкоп. В яму струится, блистая матовыми гранями, поток жирного антрацита. Большую застрявшую глыбу вытаскиваем, обхватив ее вдвоем, втроем, напягая силенки.

От хоромов Гудиловны до бывшей бани метров двадцать пять. Половину пути приходится преодолевать на корточках, а то и ползком — под окнами бабки Герасимихи.

Вовка черенком лопаты припирает дверь избушки, чтобы Каримовна с испугу не выскочила и не наделала бы шуму.

С грохотом ссыпая в ларь ведро за ведром. Каримовна и в самом деле встревожилась, слышно ее невнятное бормотание.

Мы так увлечены своим делом, что не замечаем, как припозднились.

И вдруг слышим встревоженный голос мамы:

— Гера, Стасик! Где вы?

Мама кличет нас от Вовки, а мы совсем в противоположном конце двора.

— Ладно, идите, без вас закончим,— отпускает нас Вовка.

Мы наскоро умываемся в бочке с дождевой водой. Я влезаю в открытое окно, помогаю вскарабкаться и братишке. И — под одеяло.

Прижались друг к дружке, ждем возвращения мамы. Трепещем — ох и попадет за своеволие!

И точно. Нас выдала наша одежонка, вид которой очень расстроил маму.

Приходится признаваться.

— Гера, ты ведь уже совсем взрослый и знаешь — нельзя брать чужое.

— Антрацит — не чужой, а трофейный, — оправдываюсь я.

— Мы его по-пластунски таскали, — поясняет Стасик.

— Нельзя этого делать, понимаете — нельзя, — страдальчески произносит мама. — Если бы был отец... — она не договаривает фразу до конца, рыдания сотрясают и душат ее. Она лишь повторяет: — Гера-Гера, что вы наделали...

Для меня остается непонятным, почему плачет мама. Разве мы совершили что-то плохое?

Рано утречком мы со Стаськой сбегали в старинную баню на улице Красноармейской, а после — в штаб. Я доложил о вчерашнем разговоре с мамой.

— Женщины все такие, — уверенно произнес Вовка, — чуть что — сразу в слезы. Им нельзя доверять настоящих дел.

С доводами начштаба мы согласились. Но маму все же было жалко.

...Антрацитная история быстро отдалилась и ушла в прошлое — события одно важнее другого следовали без перерыва.

Вовка с честью выполнил поручение. Ему удалось выведать у соседей, как звать сына и внуков Каримовны. Писем с фронта она почему-то не получала вовсе. Это было несправедливо. Мы сами сочинили прекрасное послание с передовой — от всех троих.

В нем рассказывалось о многих подвигах, якобы совершенных сыном и внуками Каримовны. Автор письма своей волей сформировал из них экипаж танка с сокрушительным названием «Капут Гитлеру!». Машина была неогороженной, непотопляемой, броню не пробивал никакой снаряд, отскакивая наподобие резинового мяча. От выдающегося Вовкиного изобретения и приключений лихого каримовского экипажа все мы пришли в восторг. Вовка прочитал все послание с выражением. Юрка и я настояли, чтобы Вовка дополнил рассказ несколькими эпизо-

дами, почему-то им опущенными. Мы с Юркой не сомневались, что Каримовы захватили в плен фашистского генерала — весь в орденах, а также из зенитного пулемета сбили два или три «фокке-вульфа».

Вовка дополнил письмо, свернул его треугольником, намусоленным химическим карандашом вывел адрес: «г. Челябинск, ул. Свободы, бабушке Каримовой. С фронта».

Следующим утром мы подкараулили Каримовну, которая направилась в очередной обход сердобольных соседей.

Сначала она испугалась нас, даже запричитала что-то, замахала кривой палкой, но дипломат Вовка моментально разрешил назревающий конфликт. Он вытащил из-за пазухи две печенки и вручил их Каримовне. Печенками мы называли картофелины, испеченные вместе со шкуркой прямо в золе. Вкус у них был необыкновенный, пальчики оближешь.

Каримовна приняла щедрый дар, поверила, что мы не враги ей, и согласилась выслушать нас. Она села на корточки и слушала, прикрыв коричневыми веками мутные от старости глаза.

— Бабушка Каримовна, — начал торжественно Вовка, — тебе с фронта прислали письмо.

Вовка показал пачку листов.

— Его написали герой-танкисты Абдул, Карим и Фарид Каримовы, славный экипаж боевой машины «Капут Гитлеру!».

Вовка декламировал с воодушевлением. Видно было, что чтение доставляет ему удовольствие.

Старуха едва ли оценила по заслуге блестящую Вовкину декламацию, лишь шептала сизыми губами:

— Абдулка, Каримка, Фаридка... улыды.

Слезы наполнили ее запавшие глазницы, а она не вытирала их.

Когда Вовка закончил чтение, старуха с трудом рас-

прямилась, сначала встав на одно колено, и произнесла только одно слово:

— Бельме.

И заковыляла от нас прочь.

Мы смотрели ей вслед недоумевая, а после задумались: что такое «бельме»?

Через день-два мы проведали подкоп. Он оказался заровненным, на месте его как ни в чем не бывало зеленела травка. Кто-то уложил здесь — очень аккуратно — куски дерна.

А когда мы заглянули в щели короедовской стайки, то увидели, что пирамида антрацита в углу нашего выросла.

Еще более невероятную весть мы узнали от соседей. Каримовна сама им поведала о страшном случае: ночью к ней явился шайтан. Он стучал в дверь, а когда ушел, то после него остался ларь угля. В подтверждение, что все было именно так, Каримовна приглашала соседок к себе и показывала ларь, полнехонький антрацита.

МИЛА

Мне написали, так, между прочим, что дом, в котором прошло мое детство, снесли. Не знаю, какая сила подтолкнула меня, но я тотчас, благо была пятница, купил билет на автобус и через несколько часов прикатил в родной город.

Груды трухлявых бревен и искореженные листы кровельного железа, старая поломанная мебель и всякий другой хлам — все это произвело тоскливое впечатление. Разрушенное человеческое жилье всегда повергает меня в уныние, словно личная невосполнимая утрата. А тут, куда ни глянь, все полно воспоминаний...

В последнее время здесь жили другие люди, кроме тети Тони. Она ни за что не хотела покидать свою комнатушку с пристроенной кухонькой, несмотря на то, что ей дали благоустроенную квартиру в новом доме.

Вспомнились летние дни первого мирного года, и в моей памяти отчетливо возникли лица родных и знакомых.

Тогда вон там, справа, где зияет яма подполья, размещалась квартира бабки Герасимихи, налево ютилась тетя Тоня с долговязым Колькой, а напротив, двери в двери, была квартира Милы...

О Миле я помню всю жизнь. Она живет во мне, не иссякая. И в этом нет ничего удивительного, хотя мы уже много-много лет не виделись и даже не переписываемся.

Особенно явственно присутствие девочки из детства ощущалось мною, когда становилось очень трудно. В эти мгновения мысленно как бы вырываешься из сонма окружающих тебя людей, связей, предметов, оказываясь один на один с собой и возникшей трудностью, иногда — опасностью. Ну чем, казалось бы, способно помочь воспоминание о девочке-подростке из детства? И все же...

Сейчас о Миле я вспомнил, заметив среди деревянных обломков кусок надоконного пропильного наворачия. Оно когда-то венчало наличники Милиного окна, с которым у меня связаны волнующие воспоминания. Я подобрал этот кусок доски и унес с собой.

Я решил стать сильным, выносливым и смелым. Наверное, к этому меня подвинуло и то, что потребовалась охрана огорода.

Какой-то злодей повадился по ночам подкапывать картофельные кусты. Действовал он хитро: вроде бы все на месте, а наиболее крупные клубни умыкнуты. Иногда, в спешке, вор вырывал куст, обирал клубни, а ботву втыкал в лунку, торопливо заваливая ее землей. Растения, конечно же, засыхали.

Обнаружение следов воруи взбудоражило население нашего дома. Женщины дружно жалели пострадавших, проклинали неизвестного грабителя. Громче других неистовствовала тетя Тоня. Все понимали, что без запасов картофеля ей с сыном не прозимовать. Она работала в банной парикмахерской уборщицей и не раз с горечью повторяла, что окромя множества вшей да мизерной зарплаты «пликмактерская» ей не дает ничего. Колька учился в девятом классе, никакого приварка к хлебным пайкам они не имели, это точно, и перебивались единственно вареной «в мундире» картошкой, часто без соли. Да и для всех остальных, кроме, разве, завмага тети Даши Бралковой, потеря даже одного клубня была бы ощутимой.

Кто же он, этот лиходей, которого за глаза прозвали колорадским жуком? Все бились над неразрешимой загадкой.

Бабка Герасимиha высказала однажды предположение, что нашу картошку «жрут хвашисты, что с фронту утекли». К бабкиным догадкам едва ли кто отнесся серьезно, однако все сходились в мнении, что пакостничает чужой. Тетя Тоня даже вгорячах назвала имя предполагаемого похитителя — старуху Каримовну. Но и в это нельзя было поверить — дряхлая и почти совсем слепая, Каримовна и днем-то не смогла бы выкопать своими негнущимися, с опухшими суставами пальцами даже один клубень.

— Поймать, изловить, — решили все единодушно. А как? Бабка Герасимиha посоветовала поставить на «супостата» волчий капкан. Но где его достать, этот капкан? И тогда тетя Лиза, одинокая бессловесная женщина, обитавшая в крохотной комнатке, похожей на стенной шкаф, в квартире Герасимиhi, горько вздохнув, посоветовала наладить ночные семейные дежурства — поочередно.

Мне соображение умной тети Лизы сразу понравилось. И я выпалил:

— Готов дежурить хоть каждую ночь. Пока не захвачу его в плен.

— Милай сын,— расчувствовалась бабка Герасимиha,— боженька тебе поможет ижловить идолищу поганого, живоглота этакого. Чтоб у него, вражины, руки отшохли...

С согласия мамы, на зависть Стасику, я перебрался жить в сарай. Ну и благодать! Половину всей площади пустого дровяника заняла широченная «варшавская» кровать с никелированными шарами, обнаруженная мною на дальних задворках.

Под ватной подушкой у меня хранится бесценное сокровище — наушник, которым я завладел в результате сложного обмена рыболовных удилищ и других снастей со щенком в придачу. Теперь без помех можно слушать радиопередачи допоздна. Провода как раз хватило...

Казалось бы, беспричинно во мне теми летними днями все чаще возникали и прокатывались волны радости: хотелось громко петь, скакать на одной ноге, карабкаться на высоченные деревья и крыши домов, где много простора, неба, ветра, солнечного света.

Я наконец-то почувствовал себя не только совершенно взрослым, но и вполне свободным человеком. И не удивительно, что именно мне доверили столь ответственное дело — охрану общественного огорода.

В дощатой стене сарая я выпилил окошечко, сам застеклил его,— отсюда отлично просматривается большая часть грядок до забора, отделившего наш двор от соседних.

Приладив один конец обрезка водопроводной трубы к верхушке столба, другой вставил в щель стенки сарая — получился турник. На нем можно подтягиваться и раскачиваться на руках или висеть вниз головой на согнутых коленях. Тут же, рядом с турником, лежат гири — еще одно мое богатство. Я не ленюсь поднимать их по многу

раз — до изнеможения. Каждодневные замеривания бичепсов маминым портняжным метром однако не показывали желанных результатов. Нетерпение стать сильным было велико. И я снова и снова поднимал до боли в мышцах пузатые гири с непонятными названиями «1/2 пуда», «10 фунтов». Тяжеленную пудовую гирю я еле-еле выжимал над головой обеими руками. Видимо, поэтому меня пуще всего и тянуло к ней. И я тягался с ней, как с противником.

С воспитанием храбрости было проще. Самое главное, рассуждал я, надо научиться никого не бояться. Когда дело касалось личной чести, я не уступал даже заведомо сильнейшему противнику, предпочитая синяки позорному клейму труса. Но у меня была одна слабость, о ней никто, кроме мамы, не знал — боязнь темноты. Ее-то мне и предстояло побороть до конца.

Для начала я в потемках полез на чердак дома, где находился штаб нашего маленького отряда. В крошечной темнотище, вытянув вперед руки, обошел, спотыкаясь, все чердачные закоулки. Не знаю, что со мной стряслось бы, наткнись я на кого-нибудь, но я не отступил, не повернул к выходу, когда над головой вдруг что-то громко захлопало со свистом. Через мгновение до меня дошло, что это испугнутые на стропилах голуби-новоселы, и лишь тогда я очнулся от оцепенения.

Ночью я заставил себя лазать в густых зарослях сирени. Признаюсь — тоже было жутко. Да и ночевки в сарае оказались небезмятежными — подчас явственно слышались чьи-то шаги, то четкие и уверенные, то легкие, крадущиеся. Желание укрыться одеялом с головой преодолевалось тяжким усилием воли. Еще труднее было встать и выглянуть в окошечко. Или отворить дверь и выйти во двор.

Днем — другое дело, за огородом мог присматривать даже Стасик. Когда же сумерки прижимались к грядкам, требовался настоящий сторож. Вооруженный, я вре-

мя от времени обходил по межам все участки. Но вот мрак заливал все вокруг, и только силуэты домов и деревьев различались на свеженаписанном темно-синем небе, мерцали, если приглядеться пристально, россыпи пылевидных бесчисленных звезд. Это зрелище меня завораживало, я подолгу не мог оторваться. По тоненькой книжечке Воронцова-Вельяминова мне нравилось отыскивать созвездия со сказочными названиями: Стрелец, Водолей, Дева. Особенно я полюбил «черпаки» Большой и Малой Медведиц. А самым заветным моим светилом я почему-то выбрал большую зеленоватую звезду, висевшую над самым домом. Прищурь глаза — и от светящегося кристалла во все стороны вытянутся лучики-иглы до самой земли. Но иногда чем дольше я смотрел на зеленую звезду по имени Венера, тем более одиноким сам себе казался. И тем чаще думал о Миле.

В ту пору мне вдруг начали нравиться некоторые, в основном соседские, девчонки, и я испытывал неясное влечение к ним. Этому влечению что-то противоборствовало во мне. Рядом же с Милой мне было хорошо и спокойно. Непоседа и сорванец, я, оказывается, мог часами разглядывать вместе с Милой большущий том «Истории гражданской войны» в ярко-красном матерчатом переплете. Не без Милиного участия я вновь пристрастился к чтению. Книги, которые она давала мне на прочтение, оказывались необыкновенно интересными. За «Серебряными коньками» и «Маленьким оборвышем» я проводил дни напролет.

Милу нельзя было назвать красивой девочкой — из-за худобы бледное лицо ее выглядело длинноносым и костистым, а тонкая шея неестественно вытянутой, но дружбу с этой доброй и тихой девочкой я не променял бы ни на чью, будь то даже сказочная королева или соседская, похожая на куклу, гордячка Нинка Пальцева. Мила обладала негромким голосом. С затаенным удовольствием я слушал каждое произнесенное ею слово, оставаясь мол-

чаливым и робким, что вовсе не вязалось с повседневным моим поведением.

О нашей дружбе я никому из знакомых ребят и не заикался, понимая, что откровенный рассказ вызовет лишь насмешки, да и язык не повернулся бы кому-то поведать о своих необыкновенных переживаниях.

Чего никогда не бывало раньше, я стал иногда рассматривать свое отражение в зеркале и расчесывать гребенкой непокорные густые вихры. И впервые не пожелал постричься к лету наголо, под нулевку.

Моей гордостью и постоянной заботой — подшивание свежего воротничка, глаженье углевым утюгом — были полученные мамой в госпитале за ударный безвозмездный труд солдатская гимнастерка и галифе. Неновая, простреленная в нескольких местах, разорванная осколками металла и аккуратно заштопанная мамой настоящая фронтовая форма наполняла меня гордостью, и друзья завидовали мне.

Однако в последнее время я стеснялся попадаться в этой форме на глаза Миле, потому что обувь — старые, не раз отремонтированные сандалии ну никак не шли к героической гимнастерке, затянутой в поясе матерчатым широким ремнем с сияющей латунной бляхой, на которой рельефно выделялась пятиконечная звезда. А о сапогах я и мечтать не смел, на базаре они стоили баснословно дорого — не хватило бы целиком маминой полочки.

Огород же я стерег только во фронтовой форме. Захватив, как всегда, большой ивовый лук и колчан с оперенными стрелами, я трижды за вечер обошел весь огород вдоль заборов, до зуда нажав крапивой ступни. Убедившись, что на участках полный порядок и все вокруг спит, я ушел в дровяник. Уснуť долго не давали обожженные до волдырей ноги. Забылся я только под утро, обернув ступни холодными листьями лопухов.

Приснился мне интереснейший, как кино, сон. Бегу будто бы я босиком по проезжей части нашей улицы,

к своему дому, легко бегу, плавно и медленно отталкиваясь от горячих булыжников. И вот, распластав руки, я оторвался от земли и... полетел. Чтобы поддерживать парение, достаточно лишь ненатужного движения рук, как при плавании «по-моряцки». Ликование наполняет всего меня, распирает грудь. Разгребая впереди себя тугой воздух, поднимаюсь выше и выше. Внизу проплывают крыши знакомых домов, трамвай оранжевой гусеницей ползет справа, по улице имени Карла Маркса, люди, размером с букашек, движутся туда-сюда по канавкам, отделяющим кварталы строений. А там, слева, на саде-острове, зеленеют купы гигантских тополей и блестит под солнцем синяя лента реки.

Упоенный высотой, неоглядным простором и способностью свободно передвигаться в воздухе, зажмуриваю глаза от солнышка, пикирую вниз, на свой двор. Дух захватывает, как на качелях. Эх, взять бы Милу за руку и взмыть под облака вместе и еще раз увидеть эту красоту — вместе. Вот здорово было бы!

А в ушах поет ветер, и даже не ветер — звучит оркестром сама земля. Звуки сплетаются в чудесную, не слышанную никогда музыку. Раскрываю глаза: меня ослепляет солнечный луч, пробившийся в щель стены.

Но разбудил меня не только яркий свет — из черной эбонитовой коробочки наушника льется сказочной красоты музыка, такая же радостная и светлая, как само утро.

Прекрасная, плавная мелодия перерастает в призыв, умоляя о чем-то, то наполняется грустью. И грусть эта сладко щемит сердце. Ласка, томление, надежда, ожидание чего-то очень желанного, сокровенного, неведомого — все было в этой музыке.

Я не шелохнулся до тех пор, пока последний звук, тонкий и нежный, не растаял совсем. В эти дивные мгновения я видел своим воображением прозрачное лицо Милы с всегдашней легкой улыбкой в уголках губ. И мне впер-

вые в жизни захотелось — немедленно, непреодолимо — увидеть Милу. И я уже отбросил в сторону одеяло и соскочил на земляной пол, когда слышались частые шаги, стук в дверь и пронзительный голос тети Тони:

— Эй, охранник, тута ли?

Я откликнулся.

— Подь-ка сюды.

Последнюю фразу соседка произнесла с такой интонацией, что неприятное предчувствие сдавило сердце. Вскоре оно неумолимо оправдалось. Тетя Тоня позвала меня к грядке Герасимихи, и та, разгневанная, с мокрыми от слез и потому еще более сморщенными щеками, набросилась на меня, укоряя, стыдя:

— Ах ты, варнак такой-сякой, шпун пешшаштный! Так-то ты наше добро штережешь! Швое-то небошь шберег, у-у!

И понесла, и понесла. Тетя Тоня ловко заполняла паузы, кляла меня на чем свет стоит и требовала выгнать из сторожей поганой метлой. Ошарашенный, я молчал.

— Своих шесть кустов отдашь, — вынесла приговор тетя Тоня. — Так матери и передай, что общество решило.

Я едва не заревел от обиды — какое несчастье для нас! Шесть кустов! Нет, я поймаю этого гада, хватит!

Весь день я только и размышлял о поимке вора и придумал. Когда стемнело, я соорудил в дальнем углу двора шалашик из бодылья (стволов подсолнухов) и ботвы и залег в нем, вооружившись многократно испытанным луком и стрелами с острыми наконечниками из жести, залитыми свинцом. Такая стрела с десяти шагов насквозь пробивала консервную банку!

Ночь — это вовсе не тишина. Пространство вокруг пронизано звуками: нудно пищат комары, поскрипывает сверчок, ветер вдруг неожиданно зашуршит ботвой, всколыхнет ее. Сыплющиеся шорохи и шелест доносятся от уличных тополей. Или вдруг лениво забрешет — где-то на дальней улице — тоже недремлющая собака.

Наш дом, кажущийся в потемках громоздким и массивным, затих, лишь одно окно освещено. Сквозь прозрачные занавески вижу неподвижно склонившуюся над столом Милу. Она читает книгу, подперев подбородок ладонями.

С громко бьющимся от волнения сердцем, сознавая, что совершаю нечто постыдное — подсматривать нехорошо! — выбираюсь из шалашика и ложусь в борозду напротив Милиного окна.

Как же это приятно, видеть, пусть на таком расстоянии, Милочку. Я испытываю к ней и благодарность за неизменную доброту и внимательность ко мне, и досаду, что нельзя быть вместе с ней всегда, и что-то такое, не объяснимое словами, что притягивает меня к этой нескладной, немного сутулой девочке, что заставляет часто думать о ней.

Лучше и не пожелаешь, чем это: здорово было бы жить нашим семьям в одной большой комнате. Тогда хоть целыми днями смотри на Милу. Больше мне ничего не надо. Но я-то знаю — эта мечта неосуществима. Бездна порождает печаль, почти скорбь.

Мила встает из-за стола, затворяет окно, скидывает платишко, оставаясь в маечке и трусиках, и выключает лампу с апельсиновым шелковым абажуром.

Я — один-одинешенек. От меня, лежащего на спине в борозде, и до зеленого глаза звезды — пустота, холод, и ничего нет, ни одного живого существа. Мне становится очень неуютно и зябко, даже тоскливо. Рыхлая земля дышит сыростью, и от нее веет многочисленными земляными запахами. Я снова всматриваюсь в черноту Милиного окна, надеясь, что в нем опять вспыхнет электричество.

Мне думается, что, если б не Мила, я остался бы совсем, ну совершенно одиноким. Леденящее прикосновение одиночества постепенно растворяется, в воображении возникает спящий братишка, озабоченное лицо мамы. Очень хочется в согретую постель, под бок Стасика, устроиться

поудобнее и замереть в приятном ожидании завтрашнего пробуждения. Но невозможно, нельзя подняться и уйти, и я снова разглядываю звезды и слушаю ночь. Как кстати, что она-то не спит, шурша и нашептывая свое, непонятное, таинственное, ночное.

Но что это? Или мне побластилось? В сложившуюся мелодию звуков вмешались посторонние, незнакомые! Я насторожился и прислушался. Да, это — не природные звуки! Они грубее, в них — опасность. Шебуршание слышится все отчетливее, оно приближается. Время, отмеряемое ударами сердца, тянется бесконечно долго — еле сдерживаю нетерпение ускорить ход надвигающегося «чего-то». Отжимаюсь ладонями от земли, вытягиваю шею, но ничего ожидаемого не вижу. Лунные блики матово мерцают на широком покрывале листвы. А шорохи множатся, по капле заполняя меня страхом неизвестности происходящего «там». Терпение кончилось, я вскакиваю и отчаянно натягиваю тетиву. Одновременно вижу — справа резко качнулась ботва, и это — не ветер. Там кто-то есть, затаился, замер...

— Кто здесь? — выкрикиваю срывающимся голосом. — Стрелять буду!

В ответ — тишина. Но что-то, какая-то масса все же просматривается смутно сквозь листву на грядке. Делаю шаг, другой в направлении жуткого «чего-то». Пальцы на тетиве онемели, не чувствуют зажатую между ними стрелу.

Я вздрогнул всем телом, когда раздался встревоженный женский голос:

— Гера, это ты?

В трех шагах передо мной вдруг кто-то быстро вскочил и, пригибаясь, запетлял к дому.

— Тетя Тоня! — наконец-то осознал я, уже вскинув лук вслед удаляющейся фигуре. И... отпустил тетиву, медленно отпустил. — Неужели это она? Не может быть...

Пока в растерянности решал, кто это и что мне делать, резко хлопнула уличная дверь. Я запоздало бросился к дому. Но дверь уже закрючили. На стук в окно тетя Тоня не отвечала, за стеклом было тихо и темно. Мне стало не по себе: не привиделось ли все это?

Остатки ночи провел в сарае, и мутный страх не покидал меня, однако домой я не пошел, как ни хотелось. Рано утром я убедился, что ночной гостьей была тетя Тоня и никто другой. В мокрой от росы ботве валялась брошенная синяя с черными выщербинами эмалированная посуда, рядом валялось несколько картофелин. Чашку эту я множество раз видел на столе у Кольки.

В этот раз пострадала посадка Бралковых, и мне не терпелось побыстрее возвратить им мой трофей. К тете Тоне я не испытывал той злости, которую возбудил во мне наш неведомый разоритель. Меня терзал мучительный вопрос: как она посмела, как смогла? Разве не она, брызгая слюной и размахивая короткими руками, клеймила ворюгу, нагло обкрадывавшего пас? И мне никак не удавалось соединить в своем сознании ту яростную тетю Тонию и трусливо убегающего негодяя.

Первой о ночном происшествии я рассказал маме и, конечно, показал синюю миску с картофелинами. Мама выслушала меня с недоверием:

— Гера,— сказала она,— такого быть не может.

— Может,— упорствовал я.— Сам видел.

— В темноте ты вполне мог ошибиться.

— А голос? Голос-то — ее.

— Гера, есть очень похожие голоса. А такое на человека напрасно возвести... Ты не представляешь, какой это непростимый поступок.

И решительно предложила:

— Идем.

— Тоня, ты почью, случаем, не выходила в огород? — смущенно спросила она, когда мы зашли к ним в комнату.

— А што мне там иделать? Ночью-то?

Она вперилась в меня своими маленькими светлыми глазками в белесых ресницах с такой ненавистью, что я даже отступил к двери, и вдруг напустилась:

— Этто почему у тебя наша миска? Пошто чужие вешши хваташь? Положь чичас жа на место в коридор, на ларь, где была.

— Отдай,— облегченно вздохнув, сказала мама.— Слышал? Тетя Тоня ночью никуда не выходила.

А я усиленно соображал, как так получается: значит, я взял без спроса чужую вещь, а не подобрал ее на грядке. А вчера вечером миска еще находилась здесь, в комнате, я это хорошо помню.

Тетя Тоня рванула из моей руки посудину и прошипела:

— Я тебе покажу, обормот ты этакый, как на меня клепать. Сказано тебе: никуда я не выходила. Обознался ты.

— Не выходила, а выползала! И картошку рыла у Бралковых,— произнес я громко и отчаянно.

— Замолчи! — закричала мама и ударила меня ладонью по щеке.— Замолчи сейчас же! Извини, Тоня, он сам не понимает, что говорит. Прости его — глупый еще.

— И дерзкий,— мстительно, сквозь зубы процедила тетя Тоня.— Мало его понужаешь, Надежда. Чаше лупцуй, быстрей поумнеет. Вон мой Колька и рот не раззявит при людях, потому колочу его, как сидорову козу.

Выбежав от соседей, я помчался в сарай и закрылся в нем на засов — деревяшку. И только тогда слезы хлынули из глаз моих неудержимо. Я рыдал от захлестнувшей меня обиды. Стыдно было за мамину пощечину, и более того жгла мысль, что я не виноват, а прав. Я чистую правду говорил!

«Ты сама мне все время повторяешь,— мысленно обращался я к маме,— чтобы я никогда не лгал. Почему же тогда мне не веришь? Да еще наказываешь! За что?»

«Почему ей верят, а мне нет? — размышлял я. — Потому что я пацан, а она взрослая? Это нечестно!»

Вскоре под дверями сарая появилась тетя Тоня и всячески стала поносить меня, обещала уши оторвать.

Тут и Колька заглянул в окошечко и прошептал:

— Только выйди — морду разобью, стор-рож...

Но я вышел. Хотя и боязно было, пересилил себя, чтобы Колька видел, что я не боюсь его. Боязнь сразу улетучилась, как только Ржавец, так дразнили Кольку за рыжеватые волосы и красные обильные веснушки по всему лицу, саданул мне кулаком в живот. Колька вымахал на две головы выше меня, и руки у него выросли длиннющие, и хлестал он зло и больно, однако я, распалившись, ловко давал сдачи, изворачиваясь от ударов. Несомненно, Колька крепко поколотил бы меня, по мне удалось расквасить ему нос. Он зажал его пальцами и, пригрозив расправиться после, убежал к себе. Я забрался на крышу дровяника в ожидании возвращения Кольки. Но явилась тетя Тоня. Она безудержно ругала меня и, не принимая во внимание, что ее сыночек первым полез драться, грозила милицией. Это меня возмутило еще сильнее, и я крикнул:

— Это ты украла картошку! Воровка!

Никогда прежде я не смел сказать такое взрослым, а тут не сдержался.

Тетя Тоня испуганно оглянулась — не слышал ли кто из соседей — и прошипела:

— Ты еще меня попомнишь...

Впоследствии, несколько лет спустя, она сдержала свою посулу, но об этом другой рассказ.

Тетя Тоня, а ее никто за язык не тянул, всем соседям жаловалась на меня, уверяя, что ночью никуда из дому не отлучалась, даже по нужде, а я напраслину придумал, будто она картошку подкапывала, по злу. Соседки ей верили. Такой вывод я сделал, потому что отношение ко мне заметно изменилось к худшему. Однако самым тягост-

ным для меня получился разговор с Милой. Она остановилась при встрече со мной во дворе, поздоровалась и, укоризненно глядя на меня, произнесла:

— Гера, ну зачем ты так обидел тетю Тоню? Она даже плакала... Нехорошо поступил. Мне стыдно за тебя.

— Да я ничего,— пролепетал я в ответ.— Я вовсе не хотел...

— Ты должен перед ней извиниться,— тихо, но настойчиво потребовала она.

— Нет,— отрезал я.

— Если ты этого не сделаешь, я не смогу с тобой дружить...

Я не произнес в ответ ни слова, только отошел в сторону с тропки, пропустил Милу к воротам, глядя ей вслед.

Я и мысли не допускал, что позволю себе извиниться перед тетей Тоней,— ни за что! После этой беседы Мила действительно прекратила со мной здороваться и заговаривать, что сильно уязвило меня. Наверное, лучше для меня было бы извиниться, признав свою ошибку, но ведь это была бы ложь! Нет, пусть уж будет так, как есть. Поддержал меня лишь верный друг Юрка Бобылкин, но и тот упрекнул:

— Почему не стрелял? Всадил бы ей — и пусть попробовала бы отпереться. Эх, слабак...

Не знал Юрка, что не мог я выстрелить в тетю Тоню, рука не послушалась бы.

О своих переживаниях после крушения дружбы с Милой я никому не обмолвился, даже Юрке. И от великого горя вдруг начал писать стихи. Однажды вечером на ум пришли две немудрящие рифмованные строчки, за ними, к удивлению, последовали и другие, и вскоре на листе оказалось написанным целое стихотворение. Конечно же, оно было обращено к Миле. В этом и других стихах от первого лица рассказывалось о том, что никто не способен понять моих терзаний и что любовь моя навеки останется неразделенной, такая уж моя судьба. Из-за безот-

ветной любви, утверждалось в одном из посланий «К М...», жизнь стала невыносимо скучной и бесцельной, и ничего в ней автору не пужно, ничего... Все испытано, все прошло.

Удивительно быстро, недели за две, стихи заполнили толстую тетрадь в клеточку, предназначенную для алгебры и геометрии. У всех рифмованных излияний имелся адресат, но вручить тетрадь или даже единый листочек решимости не хватало. К тому же для меня настали тяжелые дни. На себе я ощущал не только постоянно враждебное отношение тети Тони, неожиданные, из-за угла, тычки и оплеухи Кольки Ржавца, но и отчужденность и недружелюбность других соседей. С Милой мы не общались, и я не искал примирения, хотя меня по-прежнему влекло к ней, а во время случайных и выскиваемых мною встреч, когда можно было объясниться, во мне все сжималось и дыхание спирало. Правда, через некоторое время Мила первой сказала мне «здравствуй», однако я так и не отважился остановить ее и заговорить о чем-либо.

К себе в сарай я непременно выбирал путь мимо Ми-линого окна и чувствовал себя счастливым, если удавалось увидеть ее лицо.

Когда темнело, я вдоль забора пробирался тайком к месту, откуда была видна комната Бралковых. Мама, наверное, заметила изменившееся в чем-то мое поведение и несколько раз спрашивала, что со мной происходит. Что мог я ответить? Мучаясь сознанием, что унизился до лжи, я все же скрывал от мамы свои переживания. В одном я был уверен, что люблю Милу и нет на свете никого желаннее, чем эта необыкновенная девочка. И чем чаще я думал о ней, тем невероятнее казалась мысль, что у меня хватит решимости признаться в этом кому бы то ни было и уж конечно самой Миле. Это была самая сокровенная моя тайна. Прижавшись спиной к заплоту, подолгу простаивал, не отрывая взгляда от Милы, пока в комнате

не гас свет. И удивительно, что никто из соседей не застал меня за бдением. Впрочем, тетя Лиза однажды спросила, что я делаю столь поздно во дворе. Смутившись, я все же нашелся:

— Огород сторожу.

Ответ выглядел убедительно: после памятного ночного происшествия уже никто не покушался на наш урожай. Может быть, это и заставило кое-кого из соседей задуматься над тем, что же в действительности произошло в ту ночь. Герасимиha, ковыляя с клюкой, как всегда, в магазинную очередь, мимоходом похвалила:

— Молодец, Егорка. Не побоялся супротив пойти, дай бог тебе счастья.

Бабкина похвала натолкнула меня на догадку, что она верит мне, а не тете Тоне, а прямо об этом сказать не пожелала, побоялась ядовитого тети Тониного языка. Как же я обрадовался тогда!

А мама ни единым словом больше не напоминала о происшедшем. В ее отношении ко мне я улавливал что-то похожее на скрываемую жалость. Может быть, она чувствовала себя виноватой? Однажды она неожиданно прижала меня к груди и, обхватив мою голову, долго гладила волосы, а после, глядя мне в глаза, сказала:

— Прости, сынок, если невзначай обидела. Ты у меня — хороший.

И мне подумалось, что она хочет, чтобы я ее простил за то незаслуженное наказание, и слезы из глаз моих неукладимо хлынули на мамино плечо. А она меня гладила и повторяла:

— Ты у меня хороший, хороший.

Нечасто в мальчишеские годы выпадали мне похвалы взрослых, материнские — тоже. Чаще приходилось слышать назидания и слова осуждения: то сделал не так, это упустил, там напроказничал, того-то не послушался и все такое прочее. Подобное отношение отталкивало меня от взрослых, и мне все чаще самому приходилось решать

возникающие жизненные задачи. Разумеется, я — и довольно часто — ошибался, что влекло новые обвинения и наказания. К ним я не мог привыкнуть, не хотел ни в какую, особенно к явно незаслуженным обидам, хотя мне и внушали: то, что говорят и делают взрослые, — все правильно и сомневаться в этом нельзя. Эти «правильности» иногда доводили до слез, которых с некоторых пор я стал стыдиться, и последние года два плакал довольно редко — крепился.

Но сейчас я дал волю слезам, ведь мама признала мою правоту и даже похвалила меня. Успокоившись, я почувствовал в себе новые силы. Мне поверилось, что я способен совершить что-то необычное, хорошее, от чего окружающие удивятся и скажут:

— А Гера-то Долгов смотрите какой... А мы о нем худо думали...

Мне очень хотелось, чтобы в этом убедилась и Мила. Но что именно совершить? Война закончилась в прошлом году, и бесполезно представлять себя храбро сражающимся с фашистами. Других — настоящих! — подвигов я не знал.

В тот вечер я не пошел спать в сарайку, а лег вместе со Стаськой, который, как всегда, быстrehонько заснул. А я долго лежал в темноте с открытыми глазами, мне было так покойно и блаженно. Я был уверен, что в огород уже не вползет ни один паразит. И еще я решил, что никогда более не загляну в Милино окошко. Но мысленно увидел себя возле него. И там, в большой комнате за столом под апельсиновым абажуром, сидела, склонившись над открытой книгой, русоволосая девочка, тихая и добрая, и она находилась как бы совсем рядом — протяни ладонь и дотронешься до ее руки. Я терпеливо, с затаенным восторгом ждал, когда она поднимет свои веселые голубые глаза и посмотрит на меня, но так и не дождался...

Тем временем надо мной собирались тучи. Их усилен-

но нагоняла неугомонная тетя Тоня. Чего только она не выдумывала обо мне! Наконец Доилкина, как председатель домового комитета, объявила об общем и обязательном собрании жильцов.

И вот непоздним воскресным вечером я впервые вижу всех обитателей нашего дома одновременно. В ожидании, когда деловитая преддомкома откроет собрание, женщины беседуют о всякой всячине, как бы не замечая меня. А я ведь знаю, что разговор пойдет обо мне, о чем оповещены и собравшиеся. Предчувствие нависшей опасности не оставляет меня ни на миг. Я всматриваюсь в лица женщин, пытаюсь разгадать, что они замыслили. Я не боюсь их каждую в отдельности, даже всемогущую тетю Дашу, завпродмага, а сейчас осознал свою незащищенность и опасность объединенных непонятными интересами взрослых. Правда, на собрание явился и Колька, смиренно примостившийся на табуретке возле своей уже торжествующей мамыши.

Тетя Тоня, непонятно для чего, водрузила на кухонную плиту вымпел, полученный еще до войны в каком-то жэковском соревновании. Рядом лежат листы оберточной бумаги и карандаш, стоит пузатый водочный графин весь в сверкающих трещинах и граненый стакан.

— Товарищи женщины, — неестественно праздничным голосом произносит тетя Тоня. — Мы собрались седни здесь, штобы решить два важнейших вопроса: о переносе общественной уборной на другое место и о фулюганском поступке Егорки Долгова, который должен понести суровое наказание за свое недопустимое в нашем обществе фулюганство.

Ораторша попыталась быстренько решить первый вопрос, но не тут-то было.

Бабка Герасимиha, до того захлеб расхваливавшая «белай, как шнег, камерчевскаяй» хлеб, который «выкинули» в коммерческом магазине, насторожилась и выкрикнула тонким голоском:

— Эшто пошто жа наши-то кровны деньги уборну туды-шюды таскашь? Шлава богу, она далеко на вжгорке штоит, никому шолнышка не жаслоняет. Да и то шказать, давно ли яму рыли липатрированные. Копачам ить по полбуханки ш кажинной шемьи ликвижировали. А они, буханки-то, чай, на огороде не раштут.

— Гражданы жильцы,— вдохновенно и звонко продекларировала тетя Тоня,— подумайте сами: кому пондравится, ежели уборна перед окошком стоит? Из ее вопишша, и мухи летят роем прямо на стол. Потому-то эту уборну надо перенести...

— И кому же эшто мухи помешали, божии твари безобидные? — не сдавалась бабка.

— Кому? Да, к плимеру, уважаемой Дарье Александровне. Из ееного окошка и вид на уборну, как все в ее спешат и помои ташшат. А Дарья Александровна человек культурный, и каково ей такое из собственного окошка кажинный день видеть?

Бабка Герасимиха, всегда такая приниженно-суетливая и подхалимистая перед высокомерной и чванливой завмагом Бралковой, сейчас воспротивилась навязываемому тетей Тоней решению вопроса.

— Уважаему Дарью Александровну мухи кушают, пушкой тады она нанимает липатрированных и рашлачиватся. А нам пегде таки капиталы вжять.

Бабка, выговорившись, умолкла. Взгляды всех обратились к Бралковой, но та, спокойно выслушав горячие бабкины речи, лишь чуть сморщила в безгливой гримасе гладкое, ухоженное кремами, до отвращения красивое лицо и не сочла нужным ответить. За уважаемого завмага после длительной неловкой паузы ответила услужливая и говорливая преддомкома.

— Гражданы женчины. Общественное мнение такое: переставить уборну на друго место. Кто — «за»?

— Подожди, Тоня, не спеши,— сказала рассудительная тетя Лиза.— Ты настойчиво предлагаешь перенести

клозет. А куда конкретно? Ведь куда его ни поставь, он в чье-то окно будет виден.

— А у тебя вовсе и окошка-то нету, ты, Лиза, как в чемойдане живешь,— злорадно прервала тетю Лизу преддомкома.— Чего ты за других-то переживаешь? Ты за себя, а не за других думай. Други сами за себя подумают.

— Я уверена,— не смущаясь, продолжала тетя Лиза,— что выражу мнение большинства, предложив записать в решение собрания: перенести общественный клозет к забору напротив окон тети Тони, выполнив все работы за счет Бралковой. Кто за это предложение, голосуйте.

Предложение тети Лизы, несмотря на протесты председательницы собрания, утвердили большинством голосов. Против высказались тетя Тоня и завмаг. Колька, выполнявший обязанности писаря, ибо мать его была малограмотной, растерялся.

— Записывай, Коля, как решило собрание,— сказала тетя Лиза.

— Где же справедливость, бабы? — завопила тетя Тоня.— А почто, спрашивается, под мои окошки?

— Да потому, как ты верно подметила, нет у меня даже форточки,— улыбаясь, ответила тетя Лиза.— А тебя Бралкова не забудет, по благу отоварит.

Преддомкома, словно чего-то испугавшись, прекратила пререкания и объявила:

— А теперича, граждане жильцы, обсудим фулюганский поступок Егорки Долгова...

И тетя Тоня, захлебываясь сладкой слюной, поведала о ночном происшествии: о похищении мною эмалированной миски, в которую я сложил выкопанную мною же с бралковской грядки картошку. Все это, оказывается, я сделал с коварной целью — оклеветать преддомкома. Не забыла она красочно расписать и «бандитское» нападение на паиньку Кольку, который получил «увечье носа». А Колька, скромно потупив взор, пощупал свой совер-

шенно здоровый конопатый нос, как бы подтверждающая слова матери.

Не переводя духа, она подытожила:

— По этому по всему общему собранию граждан жильцов нашего дома решило просить милицию привлечь Долгова Егорку за клевету на честную женщину по всей строгости закона и отправить его в детскую колонию. Туды таких берут, я разузнала где следует. В общем, все ясно. Кто — «за»?

До меня не сразу дошел смысл этих требований, а когда я понял, какую беду кличет на меня тетя Тоня, то все во мне возмутилось и взбунтовалось. Меня не испугала замаячившая впереди колония. Ужаснуло меня другое: вдруг присутствующие поверят чудовищной лжи, поверят в то, чего я не совершал и не мог совершить.

Наверное, у меня был испуганный и растерянный вид, чем немедленно воспользовалась тетя Тоня.

— Чего ты скукожился? Чай, знат кошка, чье мясо съела.

Под взглядами присутствующих я словно одеревенел и не мог вымолвить и слова в свою защиту.

Перед глазами мелькали лица, и длилось это невыносимо долго, хотя не прошло, вероятно, и минуты. И вдруг я увидел лицо Милы. Сначала я не узнал ее — девочка не улыбалась, как всегда, а очень серьезно и пристально вглядывалась в меня. Такой я видел ее впервые.

И тут раздался скрипучий голос Герасимихи:

— Погодь-ка, погода. Как же так, бабы, жараж и в тюрьму? Пушшай парнишка бает, как вше было.

— Антонина Петровна рассказала обо всем, больше ничего не требуется, — ровным, сильным голосом произнесла Бралкова. — Давайте проголосуем побыстрее, а то у каждого есть и более важные дела.

Лицо ее было спокойно и холодно.

— Ну, кто — «за»? — взвизгнула преддомкома.

Руку подняла пожилая тетя Глаша, сестра тети Тони.

Она жила в нашем дворе, но в другом доме, выходившем окнами на улицу. Вслед за ней взметнула обе руки и тетя Тоня, и Колька, будто о парту оперся локтем, тоже проголосовал «за». Изящно выпрямила ладонь на уровне плеча и завмаг.

— Это — нарушение демократии, — громко сказала тетя Лиза. — Почему затыкаете рот тому, кого обвиняете бог знает в чем?

— Ты что — против общества выступишь? — взорвалась тетя Тоня. — Твоего мужика забрали в тридцать седьмом, и ты така жа. Так што молчи лучше. Де-мо-кра-тия нашлась, гляньте на ее.

— Будет тебе, Тоня, — урезонила преддомкома бабка Герасимиха. — Лижавета вшу войну иж цеха не выходила, бонбы делала, а не вшивые волошья веником шгребала. И ты ее мужиком не пеняй.

— А мой мужик на хронте, без вести пропал, — взъерепенилась тетя Тоня. — Ееный — в тюрьме, а мой — на хронте.

Я не знал, о чем они спорят, слово «демократия» мне ни о чем не говорило, но я понял, что это хорошее, справедливое слово, вроде «правды». И еще я почувствовал, что сейчас решается моя участь. И я, преодолев парализующую немоту, тихо произнес:

— Это неправда, что говорит тетя Тоня. Я не копал чужую картошку, не брал тетя Тонину миску, я ее на полюсе подобрал, когда тетя Тоня убежала с огорода к себе домой.

И, опять встретившись взглядом с Милой, сказал:

— Честное пионерское...

Думал я лишь об одном, чтобы Мила мне поверила. Пусть только она одна, но поверила бы. Мне ее вера нужна была пуще всего.

— Послушайте меня, женщины, — опять вступила в спор завмаг. — Скажите, кому мы обязаны поверить: взрослому, заслуженному человеку, честной труженице...

— У меня грамота есть из пликмахтерской, — поспешно вставила тетя Тоня.

— ...или этому хулигану, — продолжила завмаг властным голосом. — Неужели мы поставим под сомнение авторитет председателя домового комитета в угоду, извините за выражение, сопливному мальчишке.

В наступившую короткую паузу произошло то, отчего я весь содрогнулся, — я услышал тихий Милин голос:

— Правду говорит Гера. Он ни в чем не виноват.

У всех на виду Бралкова схватила дочь за руку и резко и сильно рванула к двери, распахнула ее и втокнула Милу в кухню.

— Дур-ра, — прошуршала завмаг и обратилась к присутствующим: — Не обращайтесь внимания. Долгов тоже пусть уйдет. Это непедагогично — в присутствии детей обсуждать такие важные вопросы.

И тут я вспомнил о маме. Почему она молчит, словно в рот воды набрала? Я взглянул на нее. Она стояла, прижавшись спиной к нашей печке-голландке, очень бледная и как бы отрешенная от происходящего.

— Сынок, иди в комнату, — сказала она мне.

Я повиновался. Но дома не задержался, подхлестываемый возбуждением вылез из окна и побежал в сарай, но и там не почувствовал себя в безопасности и забрался на чердак, в штаб, и оттуда стал наблюдать за парадным крыльцом нашего дома. Незаметно стемнело. Светилось лишь одно окно — у Бралковых. Там была Мила. Как ее сграбастала Дарья Александровна! От напрасной обиды Мила, наверное, плачет.

С чердака окна квартиры Бралковых я мог видеть под острым углом, и поэтому оставалось лишь догадываться, что там происходит. Об этом-то я и размышлял.

На крыльцо долго никто не выходил. Значит, собрание продолжается. О чем они там говорят, что решили? Если тете Тоне и Бралковой удастся настоять, чтобы отправить меня в колонию для малолетних, я убегу из

дома. Уеду из Челябы вовсе. В Москву, где Красная площадь и бьют куранты на Спасской башне. Там меня никто не найдет, даже знакомые завмага, которые, по ее словам, все могут, даже посадить в тюрьму кого надо. Кого ей, Бралковой, надо.

Наблюдая из чердачного проема, я постоянно возвращался мыслью к тому, что там, на кухне, происходит. А происходило там вот что. Как только дверь за мной затворилась, мама решительно подошла к тете Тоне и сказала:

— То, что вы, Антонина Петровна, пытаетесь учинить здесь над моим сыном, — несправедливое судилище, кощунство над всеми нами.

— Гляньте, как своо сына выгораживают, — выкрикнула тетя Тоня, вызывая сочувствие у присутствующих.

— Да, он мой сын, и я не отдам его вам на растерзание. Да если бы он и не был мне сыном, я точно так же поступила бы, потому что, повторяю, вы, Антонина Петровна и вы, Дарья Александровна, вместе творите зло, несправедливость. Давайте будем рассуждать здраво. Мог ли Георгий выдумать столь хитроумную интригу и зачем ему она понадобилась? Как мать я его знаю — не мог, да и ни к чему это было ему.

— Он хочет меня скомплементировать, будто я ночью в огород шастала. А это была не я. Не знаю кто, но не я.

— Даже если не вы ночью выкопали чужой картофель и Гера ошибся, то кто дал вам право голословно обвинять его в краже? Где хоть одно доказательство его виновности? Их нет. И вы напрасно пытаетесь черное превратить в белое и наоборот, вас никто из честных людей не поддержит. А вот к вам есть один вопрос: как могла ваша эмалированная чашка, которую и я накануне видела у вас на столе, оказаться на грядке Бралковой, кто, кроме вас, мог ее вынести из вашей квартиры поздно ночью?

— Не знаю кто, не знаю, — завизжала тетя Тоня.

— Не знаете? А теперь пусть хоть кто-нибудь из здесь находящихся назовет хотя бы один факт, чтобы Гера сказал неправду.

— Все врут,— сказала тетя Тоня убежденно.

— И вы, Антонина Петровна, чтобы обелить себя, готовы загубить жизнь человека. Ведь ребенок — человек! Какой пример вы подадете своему сыну и до какого предела нравственного падения докатились, если решились на подобное злодеяние!

Тетя Тоня не однажды порывалась что-то прояснить в свое оправдание, но мама не позволяла ей прервать себя.

Не дожидаясь конца собрания, ушла к себе завмаг.

Первой поддержала маму бабка Герасимиха:

— Я эдак же про себя покумекала: пошто Егорке впе это придумывать? Ни к чему. Ты уж, Тоня, мила дочь, по-хорошему повинилась бы: был грех, попутала нечистая шила. А ты робенка опоганила кривдой швоей.

— Вы все с ним заодно, с фулюганом... Я вас всех на чистую воду выведу,— выкрикнула угрожающе преддомкома.

И тут произошло самое интересное. Тетя Лиза со словами: «Вот это мы и занесем в протокол собрания» взяла с кухонной плиты исписанные листки. Часть их оказалась заполненной чернилами, да и почерк отличался от Колькиного. Это сразу заметила наблюдательная тетя Лиза, не напрасно ей доверили на заводе должность контролера-браковщика.

Не обращая внимания на вопли тети Тони, она зачитала вслух содержание листков. Это было заранее составленное постановление общего собрания жильцов дома. В этом документе «единогласно» подтверждалась моя виновность в краже и клевете и столь же «единодушно» одобрялось перенесение уборной из-под окон гр. Бралковой Д. А. под окна гр. Гераськиной П. П.— бабки Герасимихи.

— Дай-ка мне шуды энту филькину грамоту,— взвыла бабка после прочтения лжепостановления и, схватив листки своими скрюченными пальцами, искромсала их в клочья, а после еще и на обрывках потопталась чунями, приговаривая:

— Вот так единоглашно, вот эдак единомушно...

Но я-то всего этого не знал и опасался спускаться с чердака, решив остаться на нем до утра, а если за мной придут, то по водосточной трубе и карнизу спуститься на козырек парадного входа, соскользнуть по металлической витой колонне на землю и пробраться на вокзал. Я уже представлял себе, как, устроившись на подножке вагона, мчусь к Москве... Но голос мамы пресек мои мечтания. Она звала меня домой.

Поколебавшись немного, я спросил:

— Мам, а меня не заберут?

— Спускайся вниз, дурачок, никто тебя не тронет.

«Какая же молодчина Милочка. Это она первой мне поверила. Надо же — поверила. Поверила! — Так восторгался я, быстро скатываясь по высокой и крутой лестнице.— Она мой настоящий друг. Что бы такое подарить ей, чтобы — на всю жизнь? Каску? Или автомат?»

В сарае у меня хранилась немецкая рогатая каска, с которой я соскоблил свастику и эсэсовские молнии. Там же мною был припрятан исковерканный ствол советского автомата, подобранный вместе с каской на городской свалке металлолома. Но эти драгоценности явно не подходили для Милы. И тогда я вспомнил про заветную тетрадь, хранившуюся там же, в сарае.

На следующий день, уединившись в дровяник, я извлек из тайника тетрадь и враз прочел все содержимое ее. Многие из стихов были так неумело написаны, что вызвали у меня озноб. Но одно показалось достойным Милы, и я выдрал из переплета-пружины лист, вложил его в склеенный хлебным мякишем самодельный конверт и приготовился к отчаянно-смелому шагу — вручению. На

конверте четкими печатными буквами вывел: «Миле». И приписал: «От друга».

Потом я подумал: не написать ли полный адрес и с маркой не послать ли по почте, но отверг это решение сразу как трусливое.

Через день-два, выждав, когда Мила была дома одна, я остановился у ее открытого настежь окна и положил конверт на подоконник.

— Это тебе, Мила,— вымолвил я.— От меня. На память.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Блинов. ТЫ ПОМНИШЬ, МАЛЬЧИК?

Рассказы

Жизнь на дереве	4
Черный чугунок, картошка в мундире	15
Всеволод Каленая Стрела	29
Ты помнишь, Мальчик?	51
Прощание с Бонифацием	59
В последнюю зиму	71
Май 1945-го	82

Хлебная карточка. Повесть 90

Юрий Рязанов. «ЯСТРЕБОК» ГЕРОЯ. Рассказы

Замазка	120
«Ястребок» Героя	137
Гудиловна	156
Часы со светящимся циферблатом	163
Антрацит для Каримовны	172
Мила	180

Владимир Александрович Блинов
Юрий Михайлович Рязанов

ХЛЕБНАЯ КАРТОЧКА

Редактор С. В. Марченко. Художник В. Н. Гончаров. Художественный редактор В. С. Солдатов. Технический редактор Т. В. Меньщикова. Корректоры Е. И. Ерина, Е. В. Иванова

ИБ № 1376. Сдано в набор 19.07.85. Подписано в печать 14.01.86. НС 12003. Формат 70×108/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт. 9,5. Уч.-изд. л. 9,3. Тираж 100 000. Заказ 396. Цена 45 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

всп-
енъ-

2003.
вая,
000.

алы-
вск,

45 коп.

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986



В. Блинов
Ю. Рязанов

ХЛЕБНАЯ КАРТОЧКА